

# Юрий НАГИБИН



## Терпение



ВСЕМИРНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Юрий Нагибин

**Терпение**

«ЭКСМО»

2020



## **Нагибин Ю. М.**

Терпение / Ю. М. Нагибин — «Эксмо», 2020 — (Всемирная литература)

Сборник повестей и рассказов, разнообразных по тематике: о любви, поиске жизненного пути, красоте поступков, самоутверждении подлинном и мнимом. Трилогия "Богояр" рассказывает о судьбах обитателей "инвалидного острова". Пронзительный и драматический рассказ "Терпение" – о семье Скворцовых, давно собиравшихся посетить Богояр. Ни мужу, ни жене не думалось, что в мирной глуши северных пейзажей острова их настигнет и оглушит эхо несбывшегося... "Островную" тему продолжает повесть "Поездка на острова" о Соловках, ставшими символом травматической исторической памяти.

## Содержание

Терпение	5
Бунташный Остров	35
Конец ознакомительного фрагмента.	57

# Юрий Нагибин

## Терпение (сборник)

### Терпение

Скворцовы давно собирались на остров Богояр; пути туда из Ленинграда комфортабельным трехпалубным туристским теплоходом вечер и ночь. На осмотр острова со всеми его пейзажными красотоми и скромными достопримечательностями уходит от силы полдня, потом отдых, всевозможные развлечения, глубокий сон, как в детской колыбели, под легкую качку озерной волны, и ты – дома. Даже странно, что, живя всю жизнь в Ленинграде, они не удосужились раньше предпринять столь приятное маленькое путешествие. Это много ближе, чем манящие Кизи, куда они собирались каждый год, так и не выбравшись, но значительно дальше Орешка-Шлиссельбурга, где они тоже не бывали, в чем признавались с наигранным стыдом.

В семье никто не отличался охотой к перемене мест, влечением к старине, отечественной истории и церковному зодчеству. Жизнь семьи была «вся в настоящем разлита». Дети учились в инязе на английском отделении, мать занималась наукой – микробиологией, отец весьма убедительно изображал директора Института по мирному использованию атомной энергии.

Брат с сестрой, внешне несхожие, он – высокий, тонкий, пепельноволосый, она – маленькая, крепко сбитая брюнетка, полностью совпадали и в своих счастливых свойствах, и в молодых пороках. Оба числились отличными студентами, английский давался им без труда, что обеспечивалось редкой механической памятью и необремененностью сознания – они стряхивали с себя обузу практически ненужных знаний, как собаки – воду после купания; душевная и умственная лень подкреплялись в них страстью к развлечениям и холодной иронией ко всем проявлениям человеческого энтузиазма, пафоса и просто серьезности.

Брат с сестрой все делали с улыбкой, родители улыбались редко: с серьезным видом уходили на работу, с серьезным видом возвращались, серьезно, хотя и не часто, встречались с друзьями, серьезно отдыхали всегда в одной и той же Пицунде – дальние заплывы, подводная охота, теннис, шашлыки на костре, кино, долгий, за полночь преферанс. Считалось, что все это они любят, так же как и своих детей, и друг друга (у дочери, правда, было особое мнение на этот счет). Брат с сестрой не любили никого, кроме самих себя, но настолько чувствовали и понимали друг друга через собственный эгоизм, приверженность к удовольствиям и потребительское презрение к окружающим, что это создавало между ними доверительную близость. К родителям они относились настороженно, поскольку нуждались в них, но корыстное чувство к отцу смягчалось снисходительностью, мать они почти уважали за стойкую отчужденность, объяснить которую не умели да и не пытались – мать им не мешала.

Скворцова трогало и умиляло, что в лицах и молодых упругих телах детей соединялись, хотя и по-разному, материнское и отцовское начала. Удлиненное, сухое, сильное тело, которое он передал сыну, обрело у того мягкую материнскую пластику, а на тонких отцовских губах вдруг всплывала невеста к чему относящаяся далекая потерянная материнская улыбка; дочь, будь она повыше и поплотней, являла бы точную копию матери в ее восемнадцать, но острый, пыливый взгляд из-под очень длинных тонких ресниц был отцов, и это единственное сходство оказалось доминантой ее внешности. Скворцов видел: дети – хищники, что обеспечивало им жизнестойкость, и это его радовало не меньше, чем «документально» утвержденная в них несомненность четвертьвекового союза – время не остудило страстной любви Скворцова к жене.

Скворцову стоило немалого труда устроить эту семейную поездку, о которой он давно мечтал, – ему не хватало слишком рано эмансипировавшихся детей. И брату и сестре было безразлично, куда ехать: на север, юг, восток или запад, не волновало их и конечное место назначения: море, юры, озеро, остров, город, дачный поселок, но требовалась подходящая, настроенная на их волну компания, хорошие диски или записи, много вина, понимание с первого взгляда и возможность это понимание реализовать. Они ни за что не согласились бы на семейный компот, если б им не было обещано по отдельной каюте, если б теплоходный бар с джазом уже не получил одобрения знатоков, если б родители не предоставили им полную свободу, в том числе от экскурсии по острову, где смотреть, как и повсюду, совершенно нечего. Взрослые люди просто отстаивают свой обветшалый мир – обычная борьба за существование – перед теми, кто сгонит их с арены, и потому усиленно притворяются, будто до сих пор ценят скудные радости своей аскетической молодости.

Паша и Таня Скворцовы справедливо считали, что им повезло с предками – могло быть куда хуже; каждое покушение на их время щедро оплачивалось деньгами и подарками, незамедлительным исполнением самых сложных просьб. Паша являлся собственником однокомнатной квартиры с лоджией и «Жигулей», Таня знала, что в недалеком будущем ее ждут те же блага, но, полагаясь на собственные силы, рассчитывала достичь большего посредством раннего, тщательно продуманного брака. Она нравилась и сверстникам, и зрелым мужчинам, и старикам, что озадачивало ее брата, вовсе не ощущавшего ее притягательности, – обычная смазливая девчонка, каких тринадцать на дюжину. «Неужели ты сам не понимаешь, почему ко мне все липнут?» – однажды спросила Таня, раздраженная слепотой самого близкого человека. «Честно говоря, нет!» – «А во мне есть ма-ми-но», – произнесла она, таинственно понизив голос. «Ну и что с того?» – искренне удивился брат. В тугом, энергичном, очень современном лице сестры промелькивало сходство с уже поплывшими чертами матери, но сходство это было зыбким, непрочным, к тому же он не чувствовал очарования матери, синего чулка, зануды, безразличной к блеску сына, а этого Паша не выносил. «В матери есть нечто, – важно, свысока сказала Таня. – Поэтому отец так помешан на ней. И во мне есть нечто, и не видит это только последний дурак». Паша возмутился и дал сестре подзатыльник. Они подрались – с большим ожесточением, причем обе стороны понесли чувствительные потери. Паша не отличался великодушием и расквасил сестре нос. Помирились они перед самой поездкой на Богояр.

Уже на пароходе Паша вспомнил о недавнем разговоре, оказывается, кое-что его заинтересовало. Не слишком... Слишком не надо ничем интересоваться, а то набьешь мозоли на мозги. Но теплоход плыл мимо низких и скучных невских берегов, бар был еще закрыт, а сестра все равно торчала у него в каюте, и Паша вернулся к прерванному побоищем разговору:

– Ты считаешь мать красивой?

– Если хочешь знать, в молодости она была даже красивей меня, – заявила Таня, и у брата опять зачесались руки. – Она зачем-то уничтожила все свои довоенные карточки, но у отца в бумажнике есть крошечное фото, вырезанное из группового снимка. Какое у нее лицо!.. Нет, я, конечно, пас перед матерью, – охваченная внезапным смирением, сказала Таня. – Зато у меня есть характер!.. Смирение отступило перед новым напором самодовольства. – А маман этим не блещет.

– Во зазналась! – восхитился брат. – Ты начинаешь мне нравиться.

– А ты мне – нет. Терпеть не могу желторотых.

Паша заводился с пол-оборота, но в поклонении сестры был уверен. К тому же сейчас его занимало другое.

– По-твоему, мать бесхарактерная?

– Конечно! Она не любит отца, а живет с ним и даже не изменяет.

– А ты почему знаешь?

– Мы как-никак соседки...

– Ну, ты сильна!.. А ее заграничные поездки? Думаешь, за красивые глаза?

– Болван!.. Мать крупный ученый. Другие нахватили должностей и премий, но если требуется наука, посылают мать. А когда придуманные командировочки, за костюмчиками для внуков... – Она не договорила. – Не знаю... Возможно, у матери есть характер... или был когда-то, но она от него отказалась. Ей так проще. Во всяком случае, дома. А на работе... – Таня пожала плечами. – Она заставила себя уважать.

– А я не верю, что мать настоящий ученый. Погасшие люди бесплодны.

– Видать, ты сильно мучаешься, что мать на тебя плевать хотела!

– Касса-то ведь у отца, – рассудительно заметил Паша, – остальное меня мало волнует. Тем более что отец насюсюкался надо мной за двоих. Но ты тоже зря разыгрываешь из себя маменькину дочку.

– А я и не разыгрываю... Но тебя мать просто не видит, а меня... – Она заколебалась и вдруг сказала искренне – То ли жалеет, то ли хочет полюбить...

– Да не может! Все это маразм. Эскимосы оставляют престарелых родителей в чумах без харчей и огня – вот правильная постановка вопроса.

– Чего ты злишься?.. Наши никому не мешают. У тебя какой-то эдипов комплекс навыворот.

– Ладно!.. – Теперь он всерьез завелся. – Ты мне надоела. И пора одеваться! – Резким движением он спустил тренировочные брюки.

– А то я тебя не видела!.. – презрительно уронила сестра, но все же вышла из каюты.

Они помирились в баре, возле стойки, где, по обыкновению, изобразили нежную парочку, чтобы спокойно, без помех отыскать себе что-нибудь подходящее.

Слухи о теплоходе в целом и о баре в частности не были преувеличены. Первокласная посуда, оборудованная по последнему слову техники, со вкусом отделанная деревом; скрытый свет, мягко разливающийся по стенам и потолкам, превосходная мебель, особенно хороши глубокие кресла и диваны, обитые красной кожей; полуовальная стойка бара обставлена высокими тяжелыми устойчивыми табуретами, сиденья тоже обиты красной кожей; пышногрудая, чернокудрая, испанского вида барменша со смуглыми полными руками ловко сбивала коктейли; хорошо одетая публика; правда, джаз с электрогитарами и прочей электромusзыкальной техникой был шумноват, но это неизбежно, таково повсеместное требование отечественного вкуса – игра под сурдинку считается халтурой, – словом, все соответствовало высшим современным требованиям.

– Только не нажирайся сразу, – попросила сестра. – Мне здесь нравится и охота продержаться до конца.

– Кого-нибудь подцепишь и продержишься. А меня оставь в покое! – резко сказал Паша, наметанным глазом обводя быстро заполнявшееся помещение...

...Меж тем их родители, поужинав в ресторане, вернулись в каюту-люкс и сейчас пытались решить, что делать дальше. По местному радио была объявлена обширная программа развлечений: в кинозале – новый фильм, в концертном – литературная викторина, в нижнем салоне – телепередача из Останкина, в верхнем – шахматный турнир. Все, кроме шахмат, представлялось соблазнительным, и Алексей Петрович Скворцов прикидывал вслух сравнительные достоинства каждого мероприятия, ероша свои мягкие, но упругие волосы, которые, растрепанные и перепутанные его худыми пальцами, как-то сами разбирались между собой и аккуратно ложились седыми волнами по сторонам прямого пробора на маленькой аристократической голове, когда заметил, что Анна выпала из общения, забыла о его существовании, вступив в тайный и бессмысленный сговор с ночью и темной маслянистой водой за оконцем, с которого сдвинула занавеску. Над Невой повис плотный туман, растворявший в себе редкие береговые огни и свет, источаемый теплоходом, да она и не пыталась что-либо увидеть в желтовато-неопрятной мути. Это лишь казалось, будто взгляд ее устремлен на что-то внеш-

нее, нет, она всматривалась в себя, в свое прошлое, несбывшееся, обладавшее над ней магической властью. Если б Сковорцов знал, что это останется у нее навсегда, он бы... все равно женился на ней, сознательно приняв ту муку, которую нес вот уже четверть века. Страшнее и безысходнее корежило его в юности, когда она любила его друга, единственного друга, почти брата, друга, не вернувшегося с войны и тем открывшего ему путь если не к сердцу, то к плоти любимой женщины. Нет, не просто открывшего, а сделавшего куда больше: он получил Анну, потому что от него пахло Пашкой; они и на войне были неразлучны до той последней минуты, когда приходится делать выбор, поставив жизнь на карту, ему повезло, а Пашка погиб. Была в Пашке при всех его достоинствах какая-то слабость, обреченность. Сковорцов рано угадал это в Пашке, казавшемся всем другим победителем, прирожденным лидером, юным вождем Оцеолой. Наверное, потому Сковорцов не отступился от Анны при всей очевидности своего поражения, ибо чувствовал Пашкину незащищенность. Пашка был уверен, что друг зачехлил оружие, как поступил бы он сам в подобных обстоятельствах, ибо это диктовалось его оскорбительной для живых, нормальных, грешных и притом неплохих людей старомодной этикой. Свою неоправданную, сумасшедшую, фанатическую надежду, что верх останется все-таки за ним, Сковорцов даже в наихудшие минуты не думал подкрепить хоть малым предательством друга; нечистота (в свете допотопной Пашкиной морали) была в том, что он ожидал его отступа, сбоя, чем непременно воспользовался бы. А Пашка должен был рано или поздно споткнуться: ветряные мельницы нередко представлялись ему великанами, а носители действенной, хотя и тайной силы – карликами. Сковорцов ждал и надеялся. Даже когда началась война и между Пашкой и Анной произошло все, – потом оказалось, что ничего не произошло, хотя она с бессмысленным упорством убеждала мужа в злые минуты, что вовсе не он, а Пашка сделал ее женщиной, – когда они уходили добровольцами на эту войну и Анна не могла найти для него даже порошинки участия, все, все отдав Пашке. Сковорцов не отказался от надежды. Они могли оба погибнуть, это было более чем вероятно, но если одному суждено вернуться, то им окажется Сковорцов, такие, как Пашка, с войны не приходят. А Сковорцов пришел-таки, вернее, притащился, хотя был в полном здравии, но плен, проверочный лагерь и прочие мытарства надолго отсрочили его возвращение – весьма непарадное – в Ленинград. К этому времени Анна уже поняла, что Пашки нет в живых, хотя похоронки не приходило и он числился пропавшим без вести. Анна искала его на фронтах – пошла сандружинницей, позже – по госпиталям, инвалидным домам, давала объявления в газетах и по радио – тщетно. Пашкины родители и сестры погибли в блокаду, другой родни не было, немногие уцелевшие приятели безнадежно разводили руками. Да Анна и сама все знала... Когда же неожиданно-негаданно вернулся Сковорцов, Анна так ему обрадовалась, что он, истосковавшись, измучившись, изболев сердцем, принял эту тоску по всему, чем была для нее юность, освещенная синью Пашкиных глаз, чуть ли не за любовь. Он признавал условность, искусственность этого чувства – и все-таки обманывал себя. Анна с напором, какого он в ней не подозревал, стала втягивать его в жизнь. Сама она уже многое успела: защитила кандидатскую диссертацию, которую издала книгой, готовила докторскую. Сковорцов долго находился в положении догоняющего, что никак не ущемляло его самолюбия – он слишком любил Анну, чтобы вести с ней какие-то счета. Анна сразу согласилась стать его женой, и, пока он не кончил институт, они жили на ее зарплату. Вскоре родился сын, названный в честь погибшего друга Павлом, Пашкой. Когда же Сковорцов сравнялся с женой в научных степенях, а по заработку обошел, то ощутил вместо законного удовлетворения легкую утрату: для него было что-то щемяще-трогательное и волнующее в ее домашнем приоритете.

Сковорцов считал себя счастливейшим человеком на свете: его пыл к жене с годами не остывал, он любил своих детей, неуклонно шел вверх по служебной лестнице. Сколько выпало ему на долю горького, мучительного, страшного, унижительного, а верх остался за ним. В юности, когда в человеке все так нежно и ранимо, он находился в Пашкиной тени, хотя не уступал тому ни умом, ни характером, ни внутренней наполненностью, ни даже физической силой.



Когда они шутили и ожесточенно боролись, Пашка дожимал сухощавого, юркого противника только за счет большего веса. Сковорцов был остроумней, находчивей Пашки, но где бы они ни появлялись, рассчитывать на первый-второй было лишним, люди сразу узнавали ведущего. Хорош был Пашка до омерзения, особенно на коктебельском пляже: бронзовый, синеглазый, темноволосый, с мускулатурой микеланджеловского Давида и спокойно-легким дыханием доброго и бесстрашного человека. Пашка царил в любой компании, что не мешало многим считать его недалеким. А был Пашка умен и проницателен, но последним качеством редко пользовался, щадя, жалея несовершенство окружающих. Сковорцов понимал это с легкой завистью, ибо такого не мог себе позволить; Анна же понимала с ликующим восторгом. Она была не просто влюблена в Пашку, он был ее богом. И она не могла забыть его, подшила беспощадно цепким женским чувством, хотя они не знали физической близости.

А что такое эта пресловутая близость? Они прощались в Коктебеле, где их застало известие о войне. В тот вечер Пашка и Анна ушли вдвоем в Сердоликовую бухту, откуда вернулись под утро. Сковорцов знал, как беззаветно любила Анна его друга, и не сомневался в том, какой дар получил Пашка перед расставанием. Но, к великому его изумлению и торжеству, в первую брачную ночь он обнаружил, что Анна девственна. Неужели красавец, силач, супермен, как сказали бы сейчас, оказался пустоцветом? А ведь так бывает. Спортивные, сплошь мускулы и сухожилия, молодцы – порой никудышные любовники. Доверительных мужских разговоров они с другом никогда не вели, но в «доаннинский» период Сковорцов слышал совсем другое о любовных подвигах Пашки. И он ревновал погибшего друга к своей жене, от которой имел двух детей, но которую так и не сумел разбудить. Однажды, в злой час, она сказала, что Пашка, а не он сделал ее женщиной. Он услышал в ее словах лишь наивную попытку унижить его, причинить боль. И когда эта бессмыслица вновь всплывала, он не придавал ей никакого значения, замороженный бедной реальностью физиологии. И лишь недавно ему стукнуло, что Анна не изощрялась в злых выдумках, а говорила о чем-то действительно постигшем ее в ночной Сердоликовой бухте. Пашка проник ей в кровь, отравив ее собой, сделав нечувствительной к другим мужчинам. Сковорцов знал, как поэтично и отвлеченно помнят люди о своей первой чистой любви. Анна помнила иначе – омертвлением женского естества, совершенно здорового, щедро способного к деторождению: помимо двух детей, было еще несколько аборт, сделанных ею вопреки его чуть не слезным уговорам, – ему до безумия хотелось, чтобы она рожала от него. Лишь раз, очень давно, осмелился он заговорить о ее холодности. «Много ты понимаешь!» – обрезала она. Это прозвучало презрительно и с такой грубой злостью, какой он в ней не подозревал.

И тогда Сковорцов понял, что не успокоится, пока не причинит ей ответной боли. Он был терпелив и долго ждал своего часа, но в конце концов подвел ее к тому вопросу, которого она почему-то ни разу не задавала: как погиб Павел? Сковорцов отвечал осторожно, взвешивая каждое слово. Их оставили вдвоем в покинутом немецком дзоте на развилке дорог. Приказ был; продержаться до подхода наших. Они и держались, хорошо держались... А потом настала тишина, о них словно забыли: и свои и чужие... Деятельная натура Пашки не выдержала. Он пошел искать наших. Сковорцов остался. Видимо, Пашка нарвался на тех немцев, которые после забросали дзот гранатами и взяли в плен контуженного Сковорцова «Зря не остался», – только и сказала Анна. «Он хотел как лучше, – мягко произнес Сковорцов. – А может, просто не хватило терпения». – «Странно! Мне казалось, это его главное качество». – «Ты не была с ним на войне». – «Но я была с ним в Сердоликовой бухте». Таинственная бухта, где Пашкино терпение сделало из нее женщину. Чушь какая-то!.. Она продолжала с сухим смешком: «Конечно, куда ему до тебя! Ты, мой терпеливый герой, пересидел Пашку во всех смыслах». Сковорцов пожалел, что затеял этот разговор, силы были неравны, любовь бессильна перед равнодушием. Он спасся в обиду. Старый, безошибочный ход, Анна умела причинять боль близким, но тут же начинала жалеть обиженного, каяться, и в эти минуты из нее можно было веревки вить. Паш-

кина черта – тот сгоряча мог ляпнуть черт-те что, а потом ластился котенком. Горячие люди отходчивы. Скворцов не горячился. У него была железная выдержка, умение дожидаться своего часа, и тогда он шел до конца. И еще – он безошибочно отличал необходимость от мнимых возможностей, которыми так часто обольщаются слишком самолюбивые и обидчивые люди. Конечно, у него в жилах текла кровь, не водица, и он совершал промахи, но не упорствовал в них. В свое время он сделал несколько добросовестных и несуетливых попыток проверить, насколько может освободиться от Анны, хотя бы ослабить путы, но оказалось, что с другими женщинами он испытывает вначале скуку, потом отвращение, и смирился со своим пленом. Но коли так, надо получать от нее максимум радости, не претендуя на то, чтобы ей так же радостно было с ним. В конце концов, это ее личное дело. Скворцов приспособился и к этому ее состоянию. Не терпел он лишь тех ее угрюмых выпадов из действительности, которые в последнее время случались все чаще: похоже, что этим отмечено и начало их путешествия, обещавшего быть столь приятным. Надо принимать срочные меры, иначе все пойдет прахом. Лучший способ: озадачить ее, заставить изворачиваться, лгать или оправдываться.

– Ты думаешь о Пашке? – спросил он с нарочитой прямоотой.

– Я думала о том, – сказала она, ничуть не удивленная диковатым вопросом, – что, явись сейчас Пашка, нам не о чем было бы говорить. Ты замужем за Алешкой?.. Дети есть?.. Кем ты работаешь?.. А Скворцов?.. Ну, еще что-нибудь о квартире, зарплате. Те же вопросы задала бы ему я. А дальше что?..

Скворцов промолчал. Он не ждал такого ответа, полагая, что она сама не может определить образ смутного томления, насылаемого придвинувшейся старостью. Грубая конкретность ее мыслей сбила его с толку. Они впервые отправились в маленькое путешествие всей семьей, у них прекрасная каюта-люкс, издалека доносится музыка, их не настигнет здесь ни телефонный звонок, ни внезапный наскок доброго знакомого, наконец-то можно расслабиться, перевести дух после трудной недели, сплотиться против холодного и всегда опасного мира, а у нее в мозгу – этот давно истлевший мертвец.

– Любопытно, – продолжала Анна с той же неумной доверительностью, – когда расстаются, даже на короткий срок, люди, все время общающиеся друг с другом, они переполнены новостями и соображениями. Когда проходят годы и подавно десятилетия, даже самым близким нечего сказать друг другу. Мы сцеплены чепухой, повседневностью, бытовыми мелочишками, сдуло эту пену, и все – пустыня...

– Наверное, ты права... – протянул Скворцов и вдруг переиграл всю игру: – Но я имел в виду другого Пашку – нашего сына.

– А-а!.. – Не было и тени замешательства, хотя она принадлежала к людям, остро ощущающим собственные промахи, и Скворцова кольнуло: уж не разгадала ли она его уловку? – А чего о нем думать? С ним все в порядке.

– Ты так считаешь?

– Дитя своего времени. Перебесится, будет, как ты.

– Что общего? Разве я бесился?

– Нет?.. А при чем тут ты? – В голосе прозвучало раздражение.

– Мы так совсем запутаемся. Речь шла о нашем сыне. Ты его не любишь.

– Я смертельно боялась за него, пока он был маленький. Потом все меньше и меньше. А сейчас успокоилась. Он меня не интересует.

– Это жестоко!

– Твое любимое выражение. Неужели ты так нежен и уязвим? Мне кажется, что и ты, и твой безумствующий сынок сделаны из весьма прочного материала.

– Я никогда не выдавал себя за рохлю. Но жизнь обошлась со мной не лучшим образом. Тебе это отлично известно. И мне хочется защитить нашего мальчика...

– Пойди и заведи его из бара. Чего ты от меня хочешь? Мне не справиться со здоровенным оболтусом. И вообще, он творение твоих рук.

– А дочь?

– Что дочь? – Анна хотела вывести его из себя, но он не поддавался.

– Чьих рук творение?

– Ты думаешь, моих?.. Я ее совсем не знаю, эту девочку.

– Полезно менять обстановку, – заметил Скворцов. – Выясняется много нового.

– А что мы выяснили? – произнесла она устало. – Что я плохая мать нашим детям? Для этого вовсе не нужно было ехать на Богояр. Они мне чужие. Это твои дети, а не мои. Вообще, у нас все – твое. Твои дети, твоя семья, твоя квартира, твои гости, а я – твоя жена.

– А я не твой муж?

Она промолчала. Скворцов не повторил вопроса. Что-то у него сегодня не срабатывало. Было несколько тем, действовавших на Анну укрощающе: его военные злоключения, его здоровье, вообще-то крепкое, но он был мнительным человеком, а муки мнительного человека не уступают мукам больного, и Анна это знала, наконец, дети. Скворцов презирал обман, если в нем не было хоть крупинки правды: самочувствие у него сегодня было отменное, к тому же жалобы на здоровье могли сорвать завтрашнюю экскурсию, военная тема уже затрагивалась, но не пошла ему на пользу, оставались дети, которые его и впрямь тревожили. Он знал, что они сидят в баре, пьют, заводят сомнительные знакомства, особенно волновался он за дочь и даже ревновал ее к паршивым испорченным мальчишкам, а еще больше – к тем немолодым потаскунам, которые не стесняются замешиваться в юные компании с целями отнюдь не культурегерскими.

– Наверное, река на меня так действует, – тихо сказала Анна, и Скворцов понял, что это начало капитуляции – самые сладостные минуты в его отношениях с женой. Их семейной жизни не хватало тепла, доверия, при том что Анна действительно отдаст за детей и мужа всю кровь до капли. Но она скупится на простой жест доброты, участия, бездумной нежности, да просто улыбку. Она выполняет долг – безукоризненно, не придерешься (а жаль, тогда стало бы чуть легче!), но не живет общей жизнью с семьей, а служит ей. И дети рано начали понимать это и потянулись к отцу, который не отличался столь безукоризненным вниманием к их нуждам и запросам, а просто любил их, баловал (позже выяснилось, что и ключ от кассы у него). Такой была Анна с друзьями, нет, с гостями, ибо ни одного из посещавших их людей – сослуживцев и покровителей Скворцова – она не возвела в чин дружбы. Возможно, она дружила с кем-то из своих коллег, но в дом не приглашала, и Скворцов их не знал. Сын, которому нельзя было отказать в остром уме, первым разгадал домашнее самочувствие матери: «Бедная мама – тяжело ей на двух работах».

Очевидно, река действовала как-то странно и на Скворцова – впервые он не поспешил навстречу жене. Его обступило прошлое, будто вклубившееся в герметически закрытую каюту из законной желтовато-нездоровой мути. И в этом прошлом стареющая, спокойно-грустная, а порой угрюмая, запертая на все замки женщина бесилась от счастья. О, это ошалелое от любви и счастья лицо!.. Конечно же, они с Пашей были обречены. Слишком большая радость смертных раздражает богов. Ничего не дается даром, за все надо платить, и к счастью продираются, оставляя на колючках не клочья шерсти, а шмотья кровавого мяса. Вот так продирался он, Скворцов... Пашка был не из реальной жизни – витязь, былинный богатырь, дон Сезар де Базан, ему предназначалось жить в сказке, легенде или хотя бы в чьей-либо памяти. Последнюю форму жизни он и обрел. А в повседневности при его открытости, вере в людей и всех устарелых добродетелей ему нечего было делать. Если бы не гибель на войне (а он должен был погибнуть), его доконали бы менее романтическим способом.

Когда Скворцов вернулся, большинство людей, знавших о довоенной дружбе и соперничестве Скворцова с Пашкой, считало, что ему лучше не показываться Анне на глаза. Ей будет

неприятен самый его вид – притащился из плена и унижения, нелюбимый и ненужный, тусклая тень, дрянная копия того, кто не вернулся. Скворцова не смутила слепая дурь окружающих: Анна была его спасением, но и он был спасением Анны, потому что лишь на нем одном лежал Пашкин отблеск. Но как бы ни был он вынослив и терпелив, порой казалось, что ему не выдержать. Анне необходимо было без конца ворошить прошлое, и он, зажав сердце в кулаке, помогал ей в этом. Даже в пору самого острого соперничества он по-своему любил Пашку. Анна же заставила его возненавидеть мертвеца. Он поражался человеческому эгоизму: молодая, добрая, тонкая женщина, к тому же прошедшая войну со всеми ее страданиями, знающая по себе, что такое боль, и тоска, и невозможность соединиться с любимым, раздирала ее душу; Пашка... Пашка... Пашка... Она могла без усталы и передыху жгутом крутить выжатую до капли тряпку юношеских воспоминаний о Коктебеле с его каменными вершинами, скудной растительностью, сухими запахами, разноцветными камешками на заплеске, бухтами, поэтическими традициями, смешными и грустными песнями, походами в Отузы, Козы и Старый Крым, с дальними заплывами и оголтелыми теннисными баталиями, где Пашка всегда побеждал, как и во всех спортивных играх, с шашлыками на Кара-Даге и теплым плодоягодным вином, и нескончаемый ностальгический бред золотил ей синие радужки больших несчастных глаз. Скворцов вытерпел это, как и все остальное, что извело лучшие годы его жизни: несчастную любовь, войну, плен, немецкий лагерь, проверку, ссылку, унижительное возвращение домой. Он получил Анну. Но разве кончились его муки? Пашка по-прежнему торчал между ними, порой едва зримо, а порой так, что застил божий свет. Он невыносимо и грозно вырос, когда родился их первенец и Анна сухими, искусанными губами – рожала она долго и трудно – просипела, что имя сыну будет Павел. Кажется, тогда Скворцов до конца понял, что ненавидит Пашку. Проклятое имя долго мешало ему полюбить сына, о котором он так мечтал. Но еще в ранние годы мальчик без малейших усилий отмел предубеждение отца. Кроме имени, у него ничего не было от Пашки, несмотря на все скрытые и явные потуги матери вырастить его похожим на своего идола. Он был умен, хитер, уклончив, скрытен и полон странного в молодом существе презрения к людям. В нем было обаяние, гниловатое обаяние ранней испорченности, но что тут общего с размашистой и доверчивой манерой доброго богатыря, готового всех принять в свои непомерные объятия? Сын был шакалом, и это нравилось Скворцову. Он рассчитывал, что быстро созревающий и жадно напивающийся отрицательным опытом паренек возместит хотя бы частично тот долг, который числил за обществом его отец. В свою очередь и сын ощущал в нем родственную душу, он рано уловил охлаждение матери и укрылся под отцову руку. Теперь имя Павел стало звучать иронически, поскольку им называли циничного, пьющего, курящего, очень себе на уме, скороспелого молодчика. У Скворцова было и другое опасение. Пашка и Анна принадлежали к одному физическому типу рослых, статных, смуглокожих, синеглазых брюнетов. Сын унаследовал узкое тело отца, его бледную кожу, светлые тонкие волосы, а мягкость движений и редкая, будто заблудившаяся улыбка – это то, что различало Анну с Пашкой. И тут Скворцову повезло. Так какого черта портит он себе путешествие, вновь буксуя мыслью в вязкой психологической грязи? Ведь нет проблем?.. Есть...

Ему надоело постоянное незримое присутствие Пашки. Убитому на войне молодому человеку, который – дико подумать – был в возрасте его молокососа-сына, нечего делать в серьезной жизни стареющих, отягощенных опытом людей. Но он упорно лезет к ним; щенок, пляжный кумир, студент-недоучка, донкихотишко, солдатик, на котором не успело обмяться обмундирование. Сиди в своем солдатском раю, коли такой существует, и не суйся к взрослым, усталым людям, прошедшим огонь, воду и медные трубы. Скворцову не раз казалось, что между ними происходит любовь втроем, что Пашка получает часть положенного ему наслаждения... Бред, пакость!.. Беда в том, что, старея, он теряет упругость характера, каждая дурная мелочь, неудача, перепад Анниного настроения, ничтожная обида уже не отскакивают от него, а налипают мокрыми осенними листьями. Это недостойно его. Разве жизнь кончилась?

Нет, она лишь склоняется к закату, и надо не жадно, не торопливо, а с мудрой сосредоточенностью опытного дегустатора втягивать каждую каплю бытия, но его подталкивают под руку, и вино проливается мимо рта.

Что же случилось, почему с годами, сглаживающими шероховатости, обтачивающими острые углы, ему стало не легче, а труднее с Анной, почему сильнее, болезненней задевает то, мимо чего он спокойно проходил прежде? Всю жизнь он бессознательно ждал от нее маленького, совсем маленького предательства прошлого, предательства Пашки. Хоть бы на мгновение свела бы она его с пьедестала или разрешила бы это сделать другому. Четверть века у подножия Пашкиного памятника – да этого не выдержат и стальные нервы, а он человек сильно битый. Неужели не могла она хоть из сострадания, из брезгливой жалости – он и на такое согласен – кинуть ему ничтожную подачку? И ведь она догадывалась, что ему это нужно, а не поддавалась, ну, хоть бы от усталости – нельзя же всю жизнь держать оборону против человека, с которым вместе засыпаешь и просыпаешься. Какой твердый,душный и неженственный характер!.. А в Пашкиных руках она плавилась воском, но тот был слишком зелен, чтобы придать форму податливому материалу. Впрочем, она сама формировала себя для него...

Было томительно от старых мыслей и материальной близости душевно отсутствующего человека. Наверное, это усугублялось малым, замкнутым пространством корабельной каюты.

Что такое пространство и время не в философском, а в бытовом значении? Расстояния, версты, мили, пролегающие между людьми, зачастую сближают их силой тоски и страсти к соединению; время почти никогда не работает на людей. Он врал, уверяя себя только что в обратном. Сближение, взаимопроникновение угадавших друг друга людей происходит всегда вначале, затем рано или поздно начинается неуклонное разъединение, отстранение необратимое – отчуждение. Подавляющее большинство людей отвергнет эту мысль как не просто ложную, но даже кощунственную. Но вдовцы быстро женятся под предлогом, что им некому будет воды подать, а вдовы, не износив башмаков, в которых шли за гробом, или выскакивают замуж, или обзаводятся сожителем, обычно моложе себя. Освобождение от близкого человека, с которым ты прожил долгие годы, при всей несомненности горестных переживаний поначалу – немалое благо. Человеку нужна свобода, а он всегда утрачивает ее целиком или частично в многолетнем сосуществовании с другим человеком. Бывают, конечно, исключения... Впрочем, у Ани, если я окочурюсь первым, жизненной активности не прибавится, она будет делать все то же и так же, как делала раньше, с великой добросовестностью, не растрачивая на это ни крупицы личности; постель ее не интересует, она не заметила, как перешагнула физиологический барьер, положенный каждой женщине. Обо мне она грустить не станет и уже без всяких помех окупнется в тину своих золотых воспоминаний. Когда-то я помог ей в этом и был нужен, но потом она заметила, что тихо, но упорно противлюсь окончательному превращению в рака, способного лишь к попятному движению. Ее это явно не устраивает, чему прямое свидетельство наше так весело начавшееся путешествие. И недовольство мной будет все возрастать и одновременно прятаться как можно глубже. Это изнурительно... А если она умрет раньше меня? Он не услышал в себе ответа. Подождал, но все в нем обезмолвилось. Он решил подойти к вопросу исподволь. Предположим, она меня бросит (что исключено), я сойду с ума, повешусь, ну, если не повешусь – ради детей, то совершу самые гибельные поступки. Какие? Запью и закурю. Мой организм не принимает ни алкоголя, ни никотина. Брошусь в объятия продажных женщин. А где они, собственно, продаются? У нас нет профессиональной любви. Но кто-то этим все же занимается. Те же сотрудницы, что окружают меня в институте, так сказать, по совместительству. Скучноватый омут греха. Забвение едва ли обретишь, разве что измажешься в иле. Ну, а если Аня умрет?.. Много тяжкого отвалится от души. Так много, что с оставшимся не прожить. Ему стало страшно, невообразимо и отчаянно страшно, что Аня возьмет да и умрет раньше него, и он громко застонал.



– Что с тобой? – испуганно спросила она, мгновенно почувствовав неподдельность переживания, родившего стон, и вырвалась из своей темной глубины не только сознанием, но подавшимся к нему телом.

– Черт его знает... – пробормотал Скворцов, сразу поняв, что бой выигран, но почему-то не испытывая победного ликования. – Кольнуло что-то... Как спицей, – добавил он, морщась и потирая ладонью бок.

– Это не сердце? – Она уже рылась в сумочке, доставая оттуда нарядные заграничные лекарства, которыми сама не пользовалась, равно как и отечественными, но в чью чудодейственную силу для близких людей свято верила. Она никогда не предлагала болящему одну пилюлю, один порошок, всегда приготавливала целый набор взаимонейтрализующих и потому безвредных снадобий. Мнительный Скворцов это понимал и преспокойно отправлял в рот жменю веселых разноцветных лепешечек и шариков, запивая водой. Сейчас привычный ритуал доставил ему особенное удовольствие, ибо, пользуясь озабоченностью Анны, он извлекал из своего положения выгоду благодарных прикосновений, умиленно-робких поцелуев в шею, мочку, плечо, висок. Требовалась двойная осторожность: не перебарщивать в энергии нежности, чтобы она не заподозрила обмана, и не распускать слюни старческой благодарности, что неаппетитно. Он хотел до конца воспользоваться плодами своей победы, это так восхитительно под озерную качку. Только следи, друг Скворцов, чтобы она не слишком боялась за твое здоровье, иначе все рухнет. Обмануть ее бесхитростность ничего не стоило, но обостренное чувство долга делало ее бдительной. Скворцов благополучно лавировал между Сциллой и Харибдой. С каждой минутой она становилась все более ручной. Теперь нужно немного безумия, чтобы вынудить ее к другим уступкам, не столь губительным для его изношенного сердца, как намерение спуститься в бар и отобрать по коктейлю у их детей-пьяниц. Ничто не казалось Анне столь опасным для сердечника (у Скворцова было сердце водолаза), чем алкоголь. Она молила мужа пощадить себя. Что угодно, только не этот страшный яд. «Вот так-то, моя строптивница!» – нежно думал Скворцов, водя губами по душистым, густым, черным, в синеву, волосам.

У него была счастливая ночь, впрочем, как и всегда...

...Детишкам повезло куда меньше. Сын Паша пить не умел. На мужественном сленге современной молодежи это называлось так: «Принимает по делу, но не держит выпивку». Он отдавал себе отчет в своей позорной слабости, но всякий раз надеялся, что пронесет. И на этот раз, в парходном баре, Паше казалось, что все будет о'кей. Из предосторожности он решил не мешать, держаться одного, самого слабенького пойла. К тому же девочка ему попалась высшего класса, и не было никакой нужды надираться, чтобы глупая, хотя и с претензиями, парикмахерша показала Афиной Палладой.

Несмотря на весь свой жизненный опыт, Паша Скворцов никак не мог определить ее социальное и жизненное положение. Он подумал было, что она тоже путешествует с родителями, – студенточка, избалованное дитя, добившееся, вроде него с Танькой, полной самостоятельности. Новая знакомая решительно отвела этот вариант: вся прелесть подобных поездок побыть одной среди чужих, совершенно незнакомых людей, освежить душу, иначе незачем ехать. Внезапно Паша обнаружил, что она куда старше, нежели ему показалось вначале. От напитков, жары, духоты, папиросного дыма будто осыпалась пыльца юности, лишив ее лицо расплывчатой прелести, черты определились и чуть поглубели. Кто же она? Некоторая загадочность наводила на мысль об «Интуристе». Танцевала она лучше и современной всех, пила с отменной легкостью, пепел стряхивала куда угодно, кроме пепельницы, за словом в карман не лезла; его волновал чуть хриловатый, словно ворчащий голос, каким она парировала, легко и остроумно, его выпады, нравился медленный, толчками, из глубины смешок, но больше всего нравилась та простота, с какой она пошла в его каюту, когда джазисты принялись гасить свет, чтобы повытрясти монету из оголтелых танцоров.

В каюте Пашу тут же стошнило. Новая знакомая вела себя спокойно и дружелюбно: давала воды, поддерживала ему голову прохладной ладонью за лоб, вытирала лицо мокрым полотенцем, чувствовалось, что все это ей не в новинку. Морали не читала, но все-таки уколола: «Эх, ты!.. А держался как настоящий!» Ему было стыдно, до слез стыдно и досадно, он люто ненавидел себя, но все же сделал попытку вывернуться.

– Сроду такого не бывало. Пойло на меня не действует. Отравился сардельками за ужином. Ты помнишь эту гадость? – Его передернуло от омерзения.

– Брось трепаться, сардельки были свежие... Ну ладно, ты меня пригласил сюда как сестру милосердия, неотложную помощь?

– А куда торопиться? – Он хотел потянуть время, чтобы прийти в себя. – Вся ночь впереди. Останешься у меня...

– Еще чего! Чтобы засыпаться? Давай не дури, или...

– Или что? – перебил он злобно, поняв, на кого нарвался.

– Или плати за испорченное платье.

– Пятерку на химчистку, так и быть... Покажи только, где испачкано.

– Дешевка! – сказала она – Сопля на заборе. Клади пятьдесят, не то тебя так оформят, что папочке с мамочкой нечего будет на кладбище везти.

Паша был начитанный молодой человек, ему сразу вспомнился сэллинджеровский «Ловец во ржи» и щелчок официанта, превративший юного героя в кучку дерьма. Ему этого вовсе не хотелось. Ну, влип!.. Потом будет интересно вспомнить, ребята ахнут... Но сейчас надо выходить из положения.

– Ладно, – сказал он покладисто. – Люблю таких баб. Не в деньгах счастье. Но сперва покажи работу. Я ведь тоже не фрайер.

Что-то похожее на уважение мелькнуло в ее холодных глазах...

Тане повезло еще меньше. Молоденьким девушкам часто нравятся мужчины много старше их, но у Тани тяга к «старью», как называл Паша избранников сестры, имела особый смысл. Она слышала смутно о любовной истории, пережитой матерью в ранней молодости. Человек тот погиб на войне; в памяти отложились мазки: высокий, смуглый, синеглазый... Остальное дорисовала фантазия с помощью киноэкрана. И юный весельчак Пашка оказался пожилым романтическим героем, молчаливым и загадочным, с роковой печатью на челе. Таня бессознательно поправляла портрет бывшего маминого возлюбленного под нынешний образ матери. Прекрасная меланхолическая пара владела ее воображением. В баре оказался человек того самого типа высокий, загорелый, голубоглазый, с проседью, с твердым мрачным ртом – он с усилием разжал сухие губы, чтобы пригласить ее танцевать. Площадка была пуста, это смутило Таню, и все-таки она пошла. И не пожалела об этом, он танцевал, как Фред Астор, которого часто показывают по телевизору в отрывках из старых американских фильмов. Исходящая от него сила подавляла, и отнюдь не робкая Таня была благодарна ему за молчание, боясь показаться глупой. А он был умен каждым жестом, каждым взглядом и тем, как курил, как вел ее в танце, как молчал, особенно впечатляющим было его насыщенное молчание. И не нужны были никакие слова, чтобы он очутился у нее в каюте, где они сразу упали друг другу в объятия. А затем, как всегда, Таня захотела оборвать все на полдороге, ну, немного дальше, чем на полдороге, другие, поборовшись, смирились с этим, но не так повел себя ее загадочный избранник. Выражение значительного и неподвижного лица не изменилось, но он отверз молчащие уста, и стало страшно.

– Ты брось динаму крутить, – сказал Фред Астор. – Со мной такие номера не проходят. Напилась, нажралась – и деру!..

Это было так неожиданно, так не похоже на все его прежнее поведение и все, что Таня слышала и видела в своей жизни, что она растерялась до потери памяти. Разве они были в

ресторане?.. Разве они ужинали?.. А в баре вообще не подавали еды... Она тянула весь вечер один-единственный коктейль, второго он ей даже не предложил. Зачем он лжет?..

– Чего вы хотите? – спросила она шатким не от страха, от омерзения голосом.

– Возмещения расходов, – произнес он и, немного подумав, ударил ее по щеке.

Было не больно, а невыносимо обидно и стыдно. Глотая слезы, она открыла сумочку и протянула ему смятую четвертную.

– Это все? – спросил он угрожающе.

Она быстро закивала. Он взял у нее из рук сумочку, порылся там, нашел брошку с камешком и сломанным замком, опустил в карман. Бросив сумочку на столик, погрозил Тане кулаком и спокойно, чуть сутулясь, вышел.

Он пришел в свою каюту, разделся, принял душ и, волосатый, смуглый, мускулистый, прилег в плавках и майке на кровать. Вскоре вернулась его спутница – вероломная подруга Пашки.

– Порядок? – спросил он.

– Нормально. А у тебя?

– Фальшак. Соплячка без денег. Взял вот это. Стоит чего-нибудь? – Он кинул ей брошку. – Я в цацках не разбираюсь.

– Камешек настоящий. Ты дуся!

Каюта погрузилась в темноту, а оконце высветилось бледным светом редющей ночи...

Ранним утром, туманным, прохладным, но обещающим хорошо и быстро разгуляться – солнце поблескивало наволочь, теплоход причалил к богоярской пристани. Большой, белый, чистый и нарядный, он замер у подножия холмистого, каменистого, поросшего лесом острова, с полуразрушенным монастырем по другую сторону, старинными церковками и часовенками по опушкам и в чаще, деревянными мостиками через ручьи и овраги, с туристскими тропами и звериными тропками, с широким большаком, ведущим к маленькому поселку возле монастыря, замер, погасив могучие моторы, на грани двух прохлад – резкой озерной и мягкой лесной, – со всей начинкой: хорошими и плохими людьми, перепившими юнцами и грешными девчонками, жадными до впечатлений экскурсантами, растроганными любителями природы, уставшими от города тружениками, с подонками и мошенниками, с дисциплинированной ловкой командой и хапугами джазистами, с весельем и печалью, поэзией, грязью, робкими признаниями, развратом, любовью, ошибками, воспоминаниями, надеждами, со всем, что составляет человеческую жизнь, современный Ноев ковчег, собравший на борту, как и в правек, каждой твари по паре – чистых и нечистых, – но и в скверне людской неводержанности оставшийся безвинным. Уйдут на прогулку пассажиры, и вышколенная команда все приберет, выметет, отпылесосит, начистит, надраит, освежит, и он станет равно безупречен и внутри и снаружи, чтобы в следующую ночь опять превратиться в рай и ад, оставаясь при этом равным своей главной сути прекрасного судна, мощно и ровно рассекающего воды озер и рек.

Теплоход пришел точно по расписанию, причалил минута в минуту, и все, кто должен его был встретить, находились на своих местах: пристанские служащие, грузчики, почтари, медицинские работники, милиционеры, киоскеры, торгующие открытками, сувенирами и какими-то неправдоподобными изданиями по редким и специальным разделам знаний, попавшими невесть зачем на пустынный остров; за пристанскими строениями, клумбой с розами и гвоздиками, подстриженным кустарником и громадным валуном ледникового периода уже дежурили над корявыми корешками, разложенными на газетных листах, самые несчастные минувшей войны, притащившиеся из монастыря, некогда крупнейшего инвалидного убежища. Сейчас монастырь почти опустел, и последние доживающие там его обитатели подлежали переводу на новое и лучшее место. Корешки, гордо именуемые богоярским женьшенем, не обладали никакими целительными и омолаживающими свойствами, но, подобно дальневосточному чуду

природы, напоминали по форме уродливых таинственных человечков и пользовались спросом у туристов.

Давно уже объявил побудку бодрый и требовательный голос судового диктора, и сейчас из репродукторов, которые нельзя выключить, лилась бодрая духовая музыка, но пассажиры раскачивались медленно. Почти никто не закрыл окошек на ночь, доверяя июльской ночи, и каюты настлы к утру, не хотелось выползть из-под шерстяных одеял. Но пришлось, поскольку старинные вальсы все чаще прерывались строгим голосом диктора, предупреждавшего, что экскурсоводы ждать не будут. Горячий душ возвращал телу жар и бодрость, музыка уже не раздражала, а звала вперед, хорошо думалось о завтраке и ароматном, спелом воздухе соснового Бояря.

Быстро раздевшись с завтраком, Анна сказала мужу, что подождет его на берегу, где экскурсантов должны разделить на группы – походы были разной трудности и продолжительности.

Она прошла мимо кают своих детей, даже не подумав постучаться и не замедлив шага, выбралась на палубу и по крутым сходням сошла на пристань, а оттуда – на прочную, недвижимую, надежную землю. В почти неощутимой зыбкости судового пространства и даже в строениях, омываемых водой, она чувствовала странное и неприятное напряжение, а сейчас ее отпустило.

На берегу было довольно пустынно: первая смена еще не кончила завтракать, а вторая поджидала своей очереди. Какие-то пассажиры, не желавшие связывать себя официальной экскурсией, выпрашивали у местных жителей, как пройти к монастырю и далеко ли до него.

– Дорога тут одна, – сказал мужичонка с корзиной, наполненной сосновыми шишками, и кивнул на большак. – А идти недалеко – километров десять.

– Ошалел? – возмутилась худенькая женщина в брезентовых рукавицах, толкавшая тачку с кирпичами. – И восьми нету.

– Может, и нету, – покладисто согласился он.

– Да не слушайте вы их! – вмешался подрезавший кусты борцовой стати садовник. – Тут ровно семь километров.

– Шесть тысяч восемьсот сорок метров, – с угрюмой усмешкой отчеканил показавшийся знакомым Анне голос.

Пассажиры подались к валуну. Анна машинально последовала за ними и увидела калек, торговавших корявыми грязными корешками. Тут только вспомнила она о грустной участи Бояря – служить последним приютом тех искалеченных войной, кто не захотел вернуться домой или кого отказались принять.

– Точно высчитал!.. – заметил один из туристов.

– Не высчитал, а выходил, – подхватил другой. – Сколько раз промахал своими утюжками это расстояние? – спросил он безногого в серой, с распахнутым воротом рубахе, очень прямо торчащего над газетой с корешками.

О калек нельзя было сказать, что он «стоял» или «сидел», он именно торчал пеньком, а по бокам его обрубленного широкогрудого тела, подшитого по низу толстой темной кожей, стояли самодельные деревянные толкачи, похожие на старые угольные утюги. Его сосед, такой же обрубок, но постарше и не столь крепко скроенный, пристроился на тележке с колесиками. Ему не по силам было отмахивать бросками тело почти семь километров от монастыря до пристани и столько же обратно.

За нарочитостью «своего» тона туриста скрывалось желание благородной прямоотой, подразумевающей уважение к ратному подвигу и жестокой потере, установить добрую мужскую короткость с половинкой человека. Ничего не дрогнуло на загорелом со сцепленными челюстями лице калеки, давшего справку. Он будто и не слышал обращенных к нему слов. Жесткий взгляд серых холодных глаз был устремлен вдаль сквозь пустые, прозрачные тела

окружающих. Туристы почувствовали опасную неуютность этого человека и неловко, толкаясь, двинулись своим путем.

Анна пожалела, что не услышала больше его голоса, резкого, надменного, неприятного, но обладавшего таинственным сходством с добрым, теплым голосом Паши. Она подошла ближе к нему, но, чтобы тот не догадался о ее любопытстве, занялась приведением в порядок своей внешности: закрепила заколками разлетевшиеся от ветра волосы, укоротила тонкий ремешок наплечной сумочки, озабоченно осмотрела расшатавшийся каблук, затем, как путник, желающий сориентироваться в пространстве, обозрела местность: опушку сосново-елового бора с убегающими в манящую чащу тропинками, лужайку перед лесом, усеянную валунами, поросшую можжевельником и низенькими серыми березами-кривулинами; в лужайку мысом вдавался ярко-зеленый выпот, над которым кружил, будто спотыкаясь о воздух, черно-белый чибис; за большаком, ведущим, как она теперь знала, к монастырю – инвалидному убежищу, земля холмилась, на срезах взгорков обнажалась каменная порода, а по другую сторону синело озеро, волны облизывали плоский берег, оставляя на песке и камнях ключья пены. Затем Анна будто вобрала взгляд в себя, отсекла все лишнее, ненужное и сбоку, чуть сзади сфокусировала его на инвалиде в серой грубой рубахе.

Она не сознавала, что нежно и благодарно улыбается ему за напоминание о Паше. Она думала: если похожи голоса, то должно быть сходное устройство гортани, связок, ротовой полости, грудной клетки, всего аппарата, создающего звучащую речь. Мысль отделилась от действительности, стала грезой, в дурманной полуяви калека почти соединился с Пашей. Если б Паша жил и наращивал возраст, у него так же окрепли бы и огрубели кости лица скулы, челюсти, выпуклый лоб, полускрытый блинообразной кепочкой; так же отвердел бы красивый большой рот, так же налился бы широкогрудой мощью по-юношески изящный торс. Когда-то она любовалась фидиевыми уломками в Британском музее, похищенными англичанами с фронтона Парфенона, и ее обожгла мысль: как ужасны оказались бы мраморные обрубки, стань они человеческой плотью. Этот калека был похищен Богояром из Британского музея, но обрубленное тело было прекрасно, и Анне – пусть это звучит кощунством – не мешало, что его лишь половина. Легко было представить, что и другая половина была столь же совершенна.

Чем дольше смотрела она на калеку, тем отчетливей становилось его сходство с Пашей. Конечно, они были разные: юноша и почти старик, нет, стариком его не назовешь, не шло это слово к его литому, смуглому, гладкому, жестко-красивому лицу, к стальным, не моргающим глазам. Ему не дашь и пятидесяти. Но тогда он не участник Отечественной войны. Возможно, здесь находятся и люди, пострадавшие и в мирной жизни? Нет, он фронтовик. У него военная выправка, пуговицы на его рубашке спороты с гимнастерки, в морщинах возле глаз и на шее, куда не проник загар, кожа уже не кажется молодой, конечно, ему за пятьдесят. И вдруг его сходство с Пашей будто истаяло. Если б Паша остался в живых, он старел бы иначе. Его открытое мужественное лицо наверняка смягчилось бы с годами, ведь по-настоящему добрые люди с возрастом становятся все добрее, их юная неосознанная снисходительность к окружающим превращается в сознательное всеохватное чувство приятия жизни. И никакое несчастье, даже злейшая беда, постигшая этого солдата, не могли бы так ожесточить Пашину светлую душу и омертвить его взгляд. Ее неумное воображение, смещение теней да почудившаяся знакомой интонация наделили обманным сходством жутковатый памятник войны с юношей, состоявшим из сплошного сердца. И тут калека медленно повернул голову, звериным инстинктом почуяв слежку, солнечный свет ударил ему в глаза и вынес со дна свинцовых колодцев яркую, пронзительную синь.

– Паша!.. – закричала Анна, кинулась к нему и рухнула на землю. – Паша!.. Паша!.. Паша!..

Она поползла, обдирая колени о влажно-крупитчатый песок, продолжая выкрикивать его имя, чего сама не слышала. Она не могла стать на ноги, не пыталась этого сделать и не



удивлялась, не пугалась того, что обезножила. Если Паша лишился ног, то и у нее их не должно быть. Вся сила ушла из рук и плеч, она едва продвигалась вперед, голова тряслась, сбрасывая со щек слезы.

Калека не шелохнулся, он глядел холодно, спокойно и отстраненно, словно все это ничуть его не касалось.

Она обхватила руками крепкое, жесткое и вроде бы незнакомое тело, уткнулась лицом в незнакомый запах стираной-перестираной рубашки, но сквозь все это чужое, враждебное, нанесенное временем, дорогами, посторонними людьми, посторонним миром, на нее хлынула неповторимая, неизъяснимая родность, которая не могла обмануть...

Она знала, что он уйдет на фронт сразу, как только они вернутся из Коктебеля, где их застала война, но до этого они должны стать мужем и женой – не по штемпелю в паспорте, а плотью единой. Это она повела его вечером в Сердоликовую бухту. Но Пашка оказался фанатиком порядочности, ханжа проклятый!.. «Ты маленькая, я не имею права...» – «Я твоя жена!» – твердила она и царапала его от злости. Они были одни в ночной пустынности бухты, отрезанной от населенной земли каменистым мысом, который надо оплывать, чтобы попасть на сердоликовый берег. Анна сорвала с себя одежду, связала Пашку своим телом и повалила на сырой песок. Они целовались так, что у нее надолго омертвели губы, она не чувствовала ни горячего, ни холодного, ни произносимых слов. Она испытала острое, невыносимое наслаждение, заставившее ее кричать и плакать, и при этом она знала, что Паша не взял ее. И ей казалось, что Паша испытал тот же ожог, хотя он, конечно, не плакал и не кричал. «Почему ты не научил меня этому раньше?» – приставала она. «Я думал, у нас впереди вечность». Она видела в темноте его большую улыбку. У них не было ничего впереди, и рай, открывшийся ей в Сердоликовой бухте, сразу стал потерянным раем. Она слышала, конечно, что существуют физиологически обобранные женщины, которые живут при этом нормальной женской жизнью, рожают детей, любят своих и чужих мужей и вовсе не томятся чувством неполноценности. Но она была не из их числа. Девушкой, не приняв в свое лоно любимого, лишь соприкоснувшись с ним, она испытала опалившее все нутро наслаждение. Она и за Скворцова пошла в надежде, что с ним, на ком Пашкин свет, ей удастся обмануть свою плоть и вызвать хоть слабое подобие чуда Сердоликовой бухты, но чуда не произошло.

Она узнала, что потеря ее невосполнима. Если не вышло с Алексеем, так не выйдет ни с кем другим. Ее костер мог зажечь только Пашка. А он предал, изменил ей со смертью, и все женское умерло в ней. Но оказалось, что его измена в тысячу раз подлее и злее, не смерть его забрала, а самолюбивая дурь, нищий мужской гонор и, что еще глупей и ничтожней, неверие в ее любовь. Какой идиот, непроходимый, тупой, злой идиот!.. Загубил две судьбы. Человек – частица общей жизни мира, он не смеет бездумно распоряжаться даже самим собой, тем паче решать за двоих. Он обобрал ее до нитки, оставил без мужа, уложив ей в постель бледнокожую ящерицу, убил настоящих детей, подсунув вместо них каких-то ублюдков. За что он так ее обнесчастил? Неужели мстил за свои потерянные ноги? Господи, он так ничего и не понял в ней... Она старая баба, забывшая о своей сути, но вот она вдыхает его запах, трогает грубую ткань изношенной рубахи, и в ней оживило все то, давнее, ночное, сердоликовое, и она так же безумно любит этого бесстыжего вора, укравшего у нее столько ночей и дней, укравшего всю жизнь, а за что он так?.. Душа ее скрючивается от боли, становясь под стать темным корешкам на газете, идиотскому символу его смирения. Она кричит, захлебываясь слезами:

– Какая же ты сволочь!.. Вор!.. Подлец!..

– Тише, – говорит он удивленно и беззлобно. – Что с тобой?

– Еще спрашиваешь?.. Где моя жизнь?

Она бьет его кулаком по любимому и ненавистному лицу, по твердой и гулкой, как панцирь, груди. Он обхватывает ее узкие запястья своей большой рукой, лапищей, рукой-ногой,

ведь он ходит тоже ею, и зажимает, как тисками. Конечно, ей не вырваться, и тогда она плюет ему в лицо.

Он почувствовал теплую влагу ее гнева на своей щеке, подбородке, правом веке, и ему стало до отвращения нежно, так бы и не стирал ее слюну, пусть впитывается в кожу, плоть и будет ее частицей.

– Павел Сергеевич, разреши, я вмажу дамочке, – предложил другой безногий коммерсант.

– Не волнуйся, Данилыч, – сказал Паша. – Все в порядке!.. – и вдруг заорал так, что жилы натянулись канатами: – Назад, Корсар!.. На место!.. Лежать!..

Анна услышала клацающий звук, ее толкнуло воздухом в спину, затем, источая горьковато-душный, не собачий, а дикий, лесной запах, мимо нее, рыча и поскуливая, прополз громадный овчар, нет, не овчар, а полуволок, с булыжной мордой и грязной изжелта-серой шерстью.

– Лежать! – повторил Пашка. – Спокойно.

Корсар зевнул с подвывом, похожим на стон. Он проглядел нападение на своего хозяина, его бесшумный стремительный прыжок запоздал, стал ненужен, и стыдом сочилось лютное сердце.

– Ты хорошо защитился, подонок!

Корсар поднял морду и зарычал, обнажая желтые клыки.

Пашка ударил рукой по земле, и пес завыл, будто удар пришелся по нему.

– Ты не очень-то, – сказал Пашка – Он полуволок. Я могу не успеть.

– Плевать я хотела, – сказала Анна – Пусть разорвет.

У нее заломило голову в висках. Раз или два в жизни испытывала она эту страшную, будто последнюю боль; перед глазами все плыло: пространство, валун, инвалиды, чудовищный пес, корешки; из текучего, потерявшего глубину и контуры мира недвижно-четко и объемно выступало лишь смуглое юношеское лицо. Она сообразила, что Пашка снял свою ужасную кепку-блин, и по-прежнему темные, без седины, густые волосы удлиннили лицо, приблизив Пашку к прежнему образу, и еще она заметила, что мир стал очень населенным: в нем появилось множество глаз и все сориентированы на них. Очевидно, с ними что-то не в порядке или не в порядке с этими очеловеченными рыбами-телескопами, плавающими в текучем мироздании, как в аквариуме без стенок. Плевать ей на них. А вот руки у нее получили свободу и можно опять ударить Пашку, но пропало желание.

Окружающее перестало струиться, все вокруг обрело твердый абрис, освободил голову железный обруч, – как ясен мир в зрачках! И этим вновь ясным, чистым зрением она обнаружила в глубине пейзажа, на заднем плане валящей из теплохода толпы белое, будто судорогой сведенное лицо Скворцова, ее мужа, отца ее детей, отсыпавшихся в каютах на белом теплоходе, доставившем ее через вечность и тысячи верст к Пашке, у которого не оказалось ног, но есть огромная свирепая собака и темные корявые корешки.

Скворцов опрометью кинулся назад к сходням и пропал. Чего он так испугался? Да какая разница?

– Перенеси меня вон к тому лесу, – попросила она Пашу. – Как раньше, помнишь?

Он недобро усмехнулся:

– А ты – ножками. Мне – нечем.

– Ну почему же? – сказала она разумно и тупо. – Я хочу к тебе на руки.

Он поднял с земли два деревянных утюжка и показал, как передвигается, отталкиваясь ими от земли.

– Поняла?.. Знал бы, что пожалеешь, запряг бы Корсара в тележку.

– А ты разве не ждал меня? – спросила она удивленно.

Он метнул на нее тревожный взгляд.

– Шесть тысяч восемьсот сорок метров, – сказала она. – Вон как ты точно высчитал!.. Значит, ходил к каждому пароходу. Не корешками же торговать?

– А чем – жемчугом?

– Не ври. Ты никогда не был вруном. Ты единственный правдивый до конца человек, какого я знала. Ты ведь не стал пьяницей? – спросила она с испугом.

– И это было, – ответил он равнодушно. – Но завязал. Уже давно.

– Вот видишь... Ты меня ждал, потому и ходил сюда.

Он никогда не задумывался, для чего ковыляет на пристань. Так уж повелось: встречать туристские теплоходы. И все, кто был способен хоть к какому-то передвижению, принимали в этом участие. Тащились на костылях, на протезах, на тележках, с помощью «утюжков», ползком, а одного «самовара» – Лешу старуха-мать на спине таскала, привязывала к себе веревками, обхватить ее сыну было нечем. Иные торговали корешками, изредка грибами, но, положив руку на сердце, неужели ради этого преодолевали они семь километров лишь в один конец? На Богояр большинство попало по собственному выбору, а не по безвыходности; сами не захотели возвращаться в семьи, к женам и детям, – из гордости, боязни быть в тягость, из неверия в душевную выносливость близких, притворились покойниками и похоронили себя здесь. А все равно тянуло к живым из большого мира, и, наверное, кое в ком теплилась сумасшедшая надежда, что среди сошедших на берег с белого теплохода окажется родная душа, и кончится иску́с, и уедет он отсюда в ту жизнь, от которой добровольно отказался. Но даже те, кого не приняли дома, тянулись сюда за чудом, которого не ждали, за чудом раскаяния. Это все правда, но не главная правда, которая проще. Хотелось увидеть людей оттуда, из той божественной жизни, которая заказана им, обитателям Богояра. Но ведь ОНА есть, есть, и ею живут иные из тех, что были рядом на фронте и тоже пролили кровь, но им больше повезло, им не нужно было уползать в чащу. Не так уж важно, почему человек оказался здесь: по свободному выбору или по необходимости, тем более что это не всегда установишь – иной вроде бы сам все решил, да что-то толкнуло его к такому решению, какое-то подсознательное знание. Но тянуло к белому теплоходу то немудреное, всем понятное чувство, что заставляет арестанта прикидываться к зарешеченному окошку: хочется глотнуть воздуха с воли, воздуха, каким были овеваны веселые люди, шумно сходявшие на горькую землю Богояра...

Павел попал на остров не сразу, не из госпиталя, а пройдя долгий и страшный путь калеки-отщепенца. И, спасаясь от полной деградации, утраты личности, приполз сюда. Он ни на что не надеялся и не хотел никакого чуда, но одно затаенное желание у него все же было: ленинградцы рано или поздно совершают паломничество на Богояр, это так же неизбежно, как посещение Шлиссельбурга или Кижей, и ему хотелось увидеть, какой стала Аня. Он был уверен, что она не узнает его, просто не заметит, а он, из укромя своей неузнанности, спокойно разглядит ее. «Спокойно», – он именно так говорил себе, кретин несчастный! А сейчас какой-то дым застил ему зрение, он не видел ее толком, лишь в первые минуты, когда она появилась и еще не узнала его, поразила его сходством с той, что осталась в его памяти. Потом он понял мучающимся чувством, что она не совсем такая, вовсе не такая, эта большая, грузная, стареющая, хотя все еще привлекательная женщина. Но схожесть была, она сохранилась в чем-то второстепенном: взмахе ресниц, блеске темных волос, родинке над левой бровью, и эти мелочи перетягивали то, куда более очевидное, чем отяготили ее годы, и все-таки он не мог сфокусировать зрения, четко охватить ее облик.

– Идем, – сказала Анна, – идем туда.

И поползла в сторону леса.

– Перестань дурачиться! – крикнул он, и, почувствовав злость в его голосе, Корсар ощерился загривок, глухо зарычал.

Павел замахнулся на него колодкой, пес заскулил, припал к земле.

– Встань, Аня! Иди нормально.

– А что?.. – Похоже, она не поняла, чего он от нее хочет.

– Ты здорова?

– Да... конечно! – Наконец-то она осознала странность своего поведения. – Ты не бойся, Паша!.. Я совсем нормальная и даже очень ученая женщина, доктор наук.

– Смотри ж ты! – усмехнулся безногий. – Какое у меня знакомство!.. А ну, доктор наук, вставай, хватит дураков тешить.

Анна послушалась, хотя далось ей это нелегко. Она словно отвыкла стоять на двух ногах, и как далеко земля от глаз!.. Паша взмахнул своими «утюгами»...

Они пересекли большак и по травяному полю, усеянному валунами, двинулись к опушке бора. Корсар плелся за ними, свесив на сторону длинный розовый грязный язык.

Опушка пустила вперед кустарниковую поросль: можжевельник, бузину, волчью ягоду.

«Зачем нас понесло сюда, – думал Павел. – Зачем мы вообще длим эту бессмысленную встречу? Ну, увиделись... Это моя вина, не надо было караулить ее на пристани. Конечно, она права, я таскался сюда, чтобы увидеть ее, но зачем было соваться на глаза?.. Да я и не совался, она сама узнала меня. Что за нищенские мысли?.. Как будто я выпросил или выманил обманом эту встречу... Я не попрошайничал ни у людей, ни у судьбы... Это моя единственная награда, и сколько лет полз я к ней на подбитой кожей заднице! Пусть все это бессмысленно, а что не бессмысленно в моей сволочной жизни?.. Как поманила в молодости и с чем оставила?..»

Они не ушли далеко, но пристань со всем населением скрылась за пологим, неприметным взгорком, а им достался уединенный мир, вмещавший лишь природу и две их жизни. Анна подошла к нему – вплотную, надвинулась каланчой, он привык, что люди смотрят на него сверху вниз, а его взгляд упирался им в пуп, но сейчас это злило, тем более что она стала гладить его голову, шею, плечи, ласкать, будто милого мальчугана.

– Прекрати! – прикрикнул он. – Я щекотлив.

– Не ври, Паша. Ты не боялся щекотки. Я противна тебе? Неужели ты меня совсем разлюбил?

– О чем ты говоришь?.. Ты же взрослая женщина!.. Старая женщина, – добавил безжалостно.

– Я старая, но не очень взрослая, Паша, – сказала она добрым голосом. – Я только раз и была женщиной, с тобой, в Сердоликовой бухте, когда началась война.

– У нас же ничего не было.

– У нас было все. А больше у меня ничего не было.

– Ты что же – осталась старой девой?

– Нет, конечно. У меня муж, дети. Сын кончает институт... Боже мой! – воскликнула она, словно вспомнив о чем-то забавном – Ты не представляешь, кто мой муж. Алешка Скворцов! Он стал такой важный, директор института...

– Погоди! – перебил Пашка. – Твой муж – Скворцов. Разве он жив?

– Жив, жив!.. Ах, Паша, он мне все рассказал. Что бы тебе остаться с ним... Ну зачем ты ушел?..

Они поменялись ролями: теперь калека долго и тупо смотрел на женщину, переставшую нести свой расслабленный бред, вернувшуюся к разумности, рассудительности, но почему-то утратившую всякую наблюдательность: ей невдомек было, какое впечатление произвели ее слова. Вся их встреча была цепью несовпадений. Когда Анна, как ей представлялось, сумела шагнуть в тот прохладный мир реальности, куда приглашал ее всей своей твердой повадкой Паша, тому почудилось, что его засасывает в трясину ее бреда.

– Послушай, – сказал он осторожно. – О чем ты сейчас?.. Я не успеваю за твоими мыслями, все-таки не доктор наук. Снизойди к жалкому недоучке. О чем ты говоришь? Кто ушел, кто остался, где и когда все это было?

– Стоит ли, Паша?.. Я говорю о фронте... о вашем последнем дне с Алешкой. Ты не думай, он тебя не осуждает. Ты хотел, как лучше... Алешке, конечно, досталось: плен и... сам знаешь...

– погоди! – опять перебил Павел. – Что там все-таки произошло?

Ну, чего он привязался? Какое это имеет значение? На что тратят они время!.. Черт дернул ее заговорить... Она ведь не знает ничего толком. Ей почудилось что-то обидное для Пашки в недомолвках Скворцова, и она прекратила разговор. Ушел, не ушел... Вообще-то остаться полагалось бы Пашке, это было более по-солдатски. Для Скворцова приказ – не фетиш. Но остался он. Значит, что-то другое сработало в Пашке – мысль о ней. Ему захотелось выжить, выжить во что бы то ни стало. Отсюда его нетерпение. Скворцова никто не ждал. Теперь по-новому осветилось многое. Пашка считал себя виноватым в гибели друга, оставшегося на посту, вот почему он приговорил себя к Богояру...

– Слушай, а ты правда жена Алешки Скворцова, или это розыгрыш?

Она чуть не заплакала.

– Паша, милый, очнись!..

– Ты жена Скворцова... Это грандиозно!.. Жена терпеливого русского солдата, который остался на посту и получил христов гостинец. По-нынешнему – гран-при!.. Нет, это грандиозно!..

Его лицо разжалось, как разжимается сведенный для удара кулак, и он стал удивительно похож на прежнего Пашку, когда тот в избытке хорошего настроения, ослепительной теннисной победы начинал дурачиться на коктебельском пляже. Она едва не обрадовалась перемене, но инстинктивно почуяла, что сейчас он менее всего похож на себя прежнего. Даже когда он стоял у валуна, над грязными корешками, вперив неподвижный взгляд в пустоту, он не был так далек от милого ей образа, как сейчас, когда обнажался в смехе его белоснежный оскал, лучились морщинки у синих глаз, взлетали, трепеща, большие кисти рук и весь он словно пробудился от медвежьего, на всю зиму, сна. Но пробудился он не в себя прежнего, не в доброго витязя, готового заключить в объятия весь мир, а в большой надрыв, издевательскую – над кем и над чем? – ярость.

Она не понимала его внезапного срыва. Что это – лермонтовское: «Ты мертвецу святыней слова обручена»? Да ведь это нежизненно, так не бывает и не должно быть, живой думает поживому. Она не собиралась оправдываться перед Пашей. Она пошла на фронт сандружинницей вовсе не в надежде его найти, такое бывает лишь в плохих фильмах, а потому, что хотела быть, где убивают. Ее не убили, даже не ранили, она вернулась в свой город, чтобы жить и ждать. Она и ждала, пока не пришел Скворцов и не отнял последнюю надежду. Была работа, был любящий пострадавший человек, Пашин друг, свидетель их короткого счастья, она не могла его полюбить, но уважала его чувство, его стойкость, и еще ей казалось: у нее может быть сын, похожий на Пашу. У многих людей для того, чтобы жить, еще меньше оснований. Но что случилось с Пашей? Отчего он взорвался, когда она сказала, что Скворцов ее муж? Странно... Скворцов был его другом с раннего детства, они десять лет просидели за одной партой, поступили в один институт, полюбили одну девушку. Скворцов полюбил раньше, но ему на роду было написано во всем уступать Пашке. Со стороны это казалось естественным: Скворцов был интересным молодым человеком, а Пашка – явлением, праздником, божьим подарком. Так его все и воспринимали. Поначалу ее отпугнула победительность курортного баловня. Бывают такие люди – для летнего отдыха. Во все играют, плавают «за горизонт», всегда в отличном настроении и загорают быстро, дочерна, без волдырей, и все дается их рукам: костер, шампур с жирными кусками баранины, трухлявые пробки бутылок, гитарные струны. А в городе эти люди большей частью линяют, гаснут: пляжный Аполлон оказывается непреуспевающим служащим, студентом-тупицей, просто лоботрясом. Вместо прекрасного наряда смуглой наготы – жалкий ленторговский костюмишко, и куда девалась вся отвага, ловкость,



покоряющая свобода слов и жестов? И все же она влюбилась в Пашку уже там, на берегу моря, когда он и внимания на нее не обращал, упоенный своими первыми взрослыми романами. А в Ленинграде она была согласна и на тупицу, и лоботряса, на последнюю шпану – любила без памяти. Но Пашка и в городе остался богом. Она вполне допускала, что Скворцов не слишком страдал, может, и вообще не страдал, находясь в тени, далеко не все люди стремятся в лидеры. И Пашка не стремился, но становился им неизбежно в любой компании, в любом обществе, в институте, на стадионе и смирился со своим избранничеством, с тем, что ему всегда оказывают предпочтение. Быть может, он заплатил за это известной эмоциональной слепотой. Так он был ошарашен, узнав от Ани, что оказался счастливым соперником своего друга Скрытность Скворцова привела его в ярость. «Домолчался, идиот несчастный!» – «А если б ты знал?» – «Обходил бы тебя, как Кара-Даг», – честно сказал Паша. «За чем же дело стало?» – хотела она обидеться. «Поздно. Люблю». Проиграв, Скворцов остался на высоте. О Паше этого не скажешь. Что-то есть роковое в его характере: срываться в последнюю минуту. Так случилось на фронте, так случилось сейчас, перечеркнув его образ взрывом низкой, истерической злобы. Она и представить себе не могла, что такое скрывается в Паше. Ну и пусть, что Господь не делает, все к лучшему. Кончилось наваждение, она обрела свободу от этого человека, хоть к старости, хоть на исходе плохо и горестно прожитой жизни. Свободна... Пуста, легка и свободна. Черта с два! Плевать ей на его «низкую злобу», на зависть и ревность к Скворцову, на то, что он откуда-то там ушел, да пропади все пропадом, ей никого и ничего не надо, кроме него самого. Любимого. Единственного. Но, может, ему надо – от чего-то освободиться, выплюнуть из души какую-то дрянь?

– Паша, – сказала она тихо, – что там было?

Он мгновенно понял, о чем она спрашивает. Его будто ледяной водой окатило – перестал дергаться, размахивать руками и твердить свое: «Грандиозно!.. Грандиозно!» Только дышал тяжело, и ей нравилось, как мощно ходит его грудь под серой застиранной рубахой. И опять она подумала: какое ей до всего этого дело?..

– Ты же сама знаешь, – как будто из страшной дали донесся до нее голос. – Все знаешь от Скворцова. Мне нечего добавить.

Ну и ладно... Надо сесть на землю, чтобы видеть его лицо. Когда солнце бьет ему в глаза, радужки становятся такими же синими, как раньше, от нагретой кожи тянет тем же «смуглым» запахом, той же здоровой, чистой жизнью. Она так быстро и бесшумно опустилась на траву возле него, что он не заметил ее движения и не смог ему помешать.

– Паша, – позвала она, дыша им, его кожей, потом, рубахой.

Он потупил голову, изгнав синеву из глаз, лицо стало окаменелым, холодным, всему посторонним, как тогда у валуна. Но ее нельзя было сбить с толку, в лесу полно набродов: пересекающихся, сплетающихся, уводящих в сторону, но хороший охотничий пес держит след.

– Паша... О чем мы говорим?.. Кому это нужно?.. После стольких лет... После твоего воскрешения...

– А я и не умирал, – прервал он с подавленной злостью, он овладел собой, но внутри все клокотало. – Я умер лишь для тебя... и Скворцова.

– Бог с ним, со Скворцовым, – устало сказала Анна. – Но что я могла сделать?.. Ты же исчез. Я посылала запросы всюду. Ответ один: пропал без вести.

– Пропал – не убит.

– Но все знали, что за таким ответом. Могло мне в голову прийти, что ты скрываешься? Это чудовищно, Паша, какое право ты имел так мне не верить? Господи, я бы примчалась за тобой на край света.

– На тот край света ты бы не примчалась, – сказал он почти спокойно.

– Почему?

– Потому что это действительно край света. Не географически, конечно. Я попытался жить среди нормальных людей. После госпиталя. Когда меня наконец дорезали. В Ленинград я не поехал. Все равно ни родителей, ни сестры уже не было... Конечно, я думал о тебе, – произнес он с усилием, – зачем врать?.. Но и разжевывать нечего, так все понятно. Я решил начать сначала, доказать свое право быть среди двуногих. На равных, хоть я им по пояс. Не вышло... Помнишь, как было после войны? На всех углах поддавшие калеки торговали рассыпными папиросами. Коммерция нищих. Я этим не промышлял, учился на гранильщика. Но стоило заезжаться на улице, мне тут же кидали мелочь или рублевки. Никто не хотел обидеть, напротив, жалели, от собственной худобы отрывали. Особенно бабы, я ведь красивый был, помнишь? Но это меня доконало. Казалось, мне указывают настоящее место. Глупо?

Она никак не отозвалась. Анна слышала каждое слово, но не пыталась вникнуть в суть, ей важно было лишь то, что скрывалось за словами. Похоже, он давно заготовил эту исповедь, проговаривал про себя, может, обращаясь к ней, но какое отношение имели эти старые обиды к чуду их встречи? Он хотел что-то объяснить, в чем-то оправдаться – все это лишнее. Прошедших лет не вернуть. Так зачем теперь и настоящее?.. А может, он подводит какое-то обвинение против нее? И это лишнее. Все лишнее. Но ему зачем-то нужно выговориться прямо сейчас, словно для этого не будет другого времени. Паша, хотелось ей сказать, опомнись. Это же я, Аня, девочка с коктебельского пляжа, женщина – пусть ненастоящая – из Сердоликовой бухты. Но Паша не слышал ее молчаливой мольбы – с задавленной яростью продолжал бубнить о своем падении.

Он тоже торговал вроссыпь отсыревшими «Казбеком» и «Беломором», а выручку пропивал с алкашами в пивных, забегаловках, на каких-то темных квартирах-хазах, с дрянными, а бывало, и просто несчастными, обездоленными бабами, с ворами, которые приспособливали инвалидов к своему ремеслу, «выяснял отношения», скандалил, дрался, научился пускать в дело нож. И преуспел в поножовщине так, что его стали бояться. Убогих он не трогал, здоровых пластал без пощады. Ему доставляло наслаждение всаживать нож или заточенный напильник в распаленного противника и чувствовать, что он, огрызок, полчеловека, сильнее любой все сохранившей сволочи. Он думал, что в конце концов его зарежут соединенными силами, и не возражал против такого финала. Но обошлось без крови – жалким, гадким, смехотворным позором. Раз к концу дня, по обыкновению на большом взводе, он сцепился с девкой из магазина, поставившей им краденые папиросы. Девка его надула, чего-то недодала, но не денег было жалко, взбесила ее наглость. Он преследовал ее на своей тележке по Гоголевскому бульвару от метро до схода к Сивцеву Вражку. Девка была здоровенная, все время вырывалась, да еще со смехом. А ударить бабу по-настоящему он даже тогда не мог. Так дотащились они до спуска на улицу, здесь он опять ухватил ее за карман пыльника. Она дернулась, карман остался у него в руке, а он сорвался с тележки и кубарем полетел по ступенькам. При всем честном народе. На тележке же штаны не обязательны, их все равно не видно за широким твердым кожаным ободом. И тогда он сказал себе: все, это край. И подался на Богояр.

– Хорошая история? – спросил он злобно.

Она не ответила. Обняла его, навлекла на себя, поймала сомкнутые губы и откинулась назад.

В слившихся воедино людях звучала разная музыка. Ее восторг был любовью, его – любовью и ненавистью, сплетенными, как хороший кнут. Под искалеченным и мощным мужским телом билась не только любимая плоть, но вся загубленная жизнь.

Она была почти без сознания, когда он ее отпустил. Но, отпустив, он вдруг увидел ее смятое, милое, навек родное лицо, услышал слабый шорох ночных волн, набегающих на плоский берег бухты, чтобы оставить на нем розоватые прозрачные камешки, – все мстительное, темное, злое оставило его, любовь и желание затопили душу. Он сказал ее измученным глазам:

– Лежи спокойно. Усни. Я сам.

...Обхватив голову руками и чувствуя под ладонями вздувшиеся рогатые вены на висках, Сковорцов силился понять, что теперь будет и как ему выйти из новой и самой страшной ловушки, которую когда-либо расставляла перед ним жизнь. А ведь их и так было немало, иные захлопывались, но он, как лиса, отгрызал прищемленную лапу и уходил. А лапа потом отрастала. Но сейчас ловушка захлопнулась наглухо, тут не отделаешься частицей тела, не уползешь в берлогу, кропя землю густой горячей черной кровью. Но безвыходные положения бывают лишь с согласия человека, а он этого согласия не давал. Если он смог уйти от самого грозного и безжалостного, что есть на свете, – от государства, то справится с любым противником. Иначе грош ему цена. Пашке его не опрокинуть – где доказательства?.. Оговорить можно кого хочешь. На его, Сковорцова, стороне десятилетия устоявшейся совместной жизни, дети, дом, прочный быт с кругом обязанностей, привычек, отношений. Она повязана, опутана, привязана бесчисленными нитями, которые удержат стареющую женщину от юных авантюр. Не уйдет же она к безногому обитателю инвалидного дома. Но этот безногий был Пашкой, и Сковорцов допускал рассудку вопреки, что тут возможно все. Даже самое дикое, нежизненное и непостижимое трезвым дневным сознанием. Она бросит все, наплюет на дом, детей и работу, не говоря уже о нем. За ее утомленностью – громадная энергия... разрушения. Она способна на любой поступок. Сковорцов ощущал это тем тонким и чутким местом под ложечкой, где помещается инстинкт защиты; оттуда шли панические сигналы, и лучше довериться им, чем логическим построениям, бессильным перед стихией.

Надо же случиться такому на последней прямой, когда, казалось, все страшное уже миновало и неоткуда ждать удара. Сам виноват – позволил расслабиться чувству самосохранения. Ведь он прекрасно знал, что на Богояре спокон веку находится инвалидное убежище. Правда, говорили, что его куда-то перевели. Следовало проверить это, прежде чем отправляться в сентиментальное путешествие. И почему он был так уверен в Пашкиной гибели? Он исходил из характера Пашки: такие не приходят с войны. Вот он и не пришел – в главном ошибки не было. Следовало учесть, что не прийти назад может и живой. Знать бы, где будешь падать, соломки бы подложил... А так и надо жить, только так: заранее подкладывать соломку. Этим и отличается умный от дурака, ответственный человек от жалкого разгильдяя. На кой черт понадобилась ему эта бессмысленная поездка? В дружную семью поиграть захотелось? Неужели на свете мало вполне безопасных мест. Можно было махнуть машиной в Таллинн. Заказать номера в «Виру», там прекрасный ресторан, гриль-бар, даже ночная программа. И никаких искалеченных войной. А если они и есть, то тихо сидят дома, а не путаются под ногами у приезжих. Ладно, мечтатель!.. Думай лучше о том, какую избрать линию поведения. Все зависит от того, что ей там Пашка наврет. Ну, это заранее известно. Доказать ничего нельзя. Все дело в том, кому захочет она поверить. Конечно, она поверит Пашке, если... если захочет поверить. Лучше не тешиться пустой надеждой, а смотреть правде в глаза... Сковорцов вдруг заметил, что грызет ногти. Отвратительная привычка с детства, от которой он поздно и с трудом отучился, вернулась к нему. Он обкусывал ногти, отдирав зубами заусеницы до крови, выгрызал мягкую кожу под ногтями и с упоением поедая обкуски собственной плоти, будто и впрямь примерялся к лисьему способу освобождения из капкана...

...Младший Сковорцов наконец очнулся от долгого, по-юношески глубокого и полного сна, не омраченного ни выпитым накануне, ни унижительным приключением, о котором вспомнил сразу, едва продрал глаза. Но странно, сейчас о вчерашней истории думалось не только без огорчения и злобы, а с некоторым удовольствием. Он заставил эту дрянь повертеться. Он так и скажет ребятам, когда вернется в Ленинград. А что если перехватить у Давшего ему жизнь денег и продолжить игру? Нет, хорошенького понемножку. Сегодня он удовлетворится чем-нибудь попроще. Даже такому рисковому мужику, как он, требуется передышка. Он прошел в ванную комнату, раскрутил кран с горячей водой, пустил белесый от пара душ и с наслаждением ошпарился кипятком – у него была «обалденно» нечувствительная кожа, чем он очень

гордился. Затем пустил ледяную воду, прямо под душем почистил зубы и вышел из ванны бодрый, свежий, в отличном настроении, готовый для новых подвигов...

Его сестра не так легко расправилась с вчерашними впечатлениями. Она даже поплакала, вспоминая об украденной, да нет, нагло взятой у нее на глазах, словно конфискованной, брошке. Это была дорогая вещь – подарок отца на совершеннолетие, – хотя она не удосужилась спросить, сколько стоит. Отцу хотелось, чтобы она спросила о цене, но зачем потакать слабостям взрослых. Она же не собиралась продавать эту брошку. Видимо, уже тогда подсознательно решила подарить ее пароходному гангстеру. Обидно, противно, унижительно. Таня улыбнулась. Может, когда она станет такой же старой и потухшей, как мама, она вспомнит о вчерашнем как о смешной, простительной, даже милой ошибке бесшабашной молодости. Надо скопить побольше впечатлений на черные дни старости. Интересно, осмелится ли этот страшный человек прийти вечером в бар? Осмелится!.. Просто и спокойно придет, как на службы, чтобы обьегорить очередную дуру. А может, надо заявить о нем капитану? Хорошо она будет выглядеть! Надо будет обеспечить себя на вечер кавалером понадежнее, чтобы этот прохвост опять не пристал. Да нет, он же видел, с нее нечего больше взять. Кроме молодости и красоты, усмехнулась Таня, но это его меньше всего интересует...

...Экскурсанты, разбитые на группы и ведомые ошалевшими от скуки гидами, ныряли в глубокие балки, карабкались навздым, делая вид друг перед другом и перед самими собой, что очарованы однообразной флорой острова и останками деревянных церквушек и часовен, поставленных отшельниками, божьими, но крайне неуживчивыми людьми, которым оказалось тесно в пустынности российских пространств. Туристы то и дело поглядывали на часы, словно могли ускорить движение почти остановившегося времени и вернуться на теплоход, где уютные каюты, музыка, телевизоры и водка...

...Двое на опушке вернулись из поднебесья, впрочем, женщина, похоже, этого не сознавала, она даже не потрудилась одернуть платье, это сделал мужчина. Анну удивил его жест. Пусть увидят ее нагой. Она безмерно гордилась своим телом, всю жизнь таким ненужным, тяжелым, обременительным, но сохранившим способность к чуду и сейчас принесшим ей столько счастья. Она повернулась на бок, в его сторону.

– Надо сделать так, чтоб мы уехали вместе, – сказала Анна.

– Не понимаю.

– На нашем теплоходе.

– Куда?

– Ко мне, разумеется.

– Что за дичь?

– А ты как думал? Я тебя не отпущу. Ты пропадаешь слишком надолго. Еще тридцать лет мне не выдержать. – В шутливости ее тона дрожала тревога.

Опустошенность, неизбежная после взрыва страсти, начала заполняться в нем чем-то горьким и недобрым. А ведь только что казалось, что внутри рассосалась старая, с колючими углами затверделость. Нет, она осталась, лишь повернулась, сдвинулась с места и легла хуже, неудобнее, больнее. Раньше он мог лишь догадываться, чего лишился, теперь – знал.

– А как же твоя семья? – спросил с усмешкой.

– Ты моя семья.

– Вон что!.. А жить мы будем со Скворцовым?

– Нам есть где жить, Паша. Ни о чем не беспокойся. Это моя забота.

– Видишь ли, – произнес он тягуче, – заботы не только у тебя. Тут есть парнишка, правда, парнишке этому уже за пятьдесят, но он так и не стал взрослым человеком. Почему – я тебе расскажу... оставь мою руку в покое!.. Его взяли в армию перед самым концом войны, прямо из школы, одолжили на месячишко и отпустили без рук, без ног. Он был из таежной деревни с подходящим названием Медвежье. Домой не поехал, сразу – на Богояр. В деревне у него

осталась старуха мать. Отец и два брата давно умерли от туберкулеза. А он, хоть и поскребыш, вырос на редкость здоровым, крепким, гладким, кровь с молоком и не хотел, чтобы мать увидела его обрубком. Но старая полуграмотная крестьянка не поверила в гибель сына и отправилась разыскивать его по всей России. Как она жила, где, чем питалась, непонятно, но через три с лишним года появилась здесь. И осталась, ехать им было некуда.

– Ты хочешь сказать, что мне...

– Нет! – отрубил он. – Лучше послушай. Она устроилась тут сторожихой. Каждое воскресенье привязывала сына к спине и несла на пристань. Сажала на скамейку, вставляла ему в зубы зажженную сигарету, он дымил, смотрел на людей и улыбался. Близость матери помогла ему остаться пацаном с детской улыбкой, детским взглядом, детской чистотой и незлобивостью. Когда мать умерла, я стал таскать его на пристань. Сейчас он угасает, без болезни, без видимой причины. Я не могу его бросить.

– Все поняла. Я останусь тут.

– Ты?... Здесь не нужны ученые дамы.

– Я была санитаркой на фронте. Пусть он живет как можно дольше – твой дружок. А когда его не станет, мы уедем в Ленинград.

– Как все просто!.. По первому знаку бросить землю, на которой прожил четверть века... Не перебивай! Я отдаю должное твоему великодушию. Ты готова составить мне компанию... Помолчи, говорю!.. Видишь ли, здесь тоже идет жизнь, какая ни есть, но человеческая жизнь со своими заботами, обязательствами, отношениями. Тебе даже в голову не пришло, что у меня может быть женщина.

– Еще бы!.. Я не сомневалась... Смотри, как ты богат, Паша, по сравнению со мной. Я могу бросить все, меня ничего не держит. А у тебя и друзья, и обязанности, и любимая женщина.

– Я не называл ее любимой – ни тебе, ни ей. Но она терпела меня почти десять лет. И сама понимаешь, не за богатство и положение.

– А я терпела без тебя – тридцать. И нечего ею восторгаться. Любая баба предпочтет тебя кому угодно.

– Да, лакомый кусок! – сказал он, не поддаваясь ее интонации. – Первый парень на Богояре. Так что видишь, нас голой рукой не возьмешь. Мы тут гордые. А ты, Аня, возвращайся домой, в свою жизнь.

– Ты больше не любишь меня? – Она зашлась громким плачем, и на мгновение почудилось, что она актерствует, притворяется.

Он тут же устыдился своей низкой подозрительности. Будь добрым, в этом больше достоинств и силы.

– Я люблю тебя и всегда любил, ты сама знаешь. Нам крепко не повезло. Что поделаешь, Леше из Медвежьего не повезло еще больше, но даже и он не самый несчастный. Все-таки мы увиделись. Я дождался тебя. Круг завершен. Так не бывает. А тут случилось и останется в нас...

– Скоро кончится эта проповедь? – Она только сейчас поняла, что за его словами не жестокий каприз калеки, а принятое решение. – Зачем ты прячешься за словами? Ты просто боишься оторваться от этого берега, боишься перемен, большой жизни, от которой отвык.

– «Боишься» – это чтоб оскорбить? Ни черта я не боюсь. Скажи: «Не хочешь», и ты права. Не хочу я вашей жизни, вы к ней привыкли, вработались, а я нет. Думаешь, там, на пристани, я ничего не слышал, не видел?... Зажравшиеся и вечно ноющие мещане – вот вы кто!.. Где морда, где задница – не поймешь, а все ноете, что с продуктами плохо. И запчастей не достать. И гаражи далеко от дома. С души воротит. Нет, не хочу я твоей «большой» жизни, мне в ней тесно будет.

– Жизнь разная, Паша.



– Под этим подписываюсь. Мы свое сделали, другие продолжают работу. Но за ними мне не угнаться, а с другими – не хочу. Твое окружение наверняка из тоскующих по запчастям, шиферу, загранкам и прочей тухлой муре. Да ну вас всех к дьяволу! Мы вас не трогаем, оставьте нас в покое. – Плотину прорвало, и, махнув рукой на все благие намерения, он заорал: – Не хотим!.. К чертовой матери!.. Зачем ты сюда притащилась, кто тебя звал?

– Ты, Паша, – сказала она беззлобно. – Ты, родной.

– Ну ладно... – Он перевел дыхание. – Меня занесло. И все-таки это не такая чушь, как тебе кажется. Когда-нибудь поймешь.

– А я уже поняла. Ты не хочешь в Ленинград. Хочешь здесь остаться. И я с тобой.

– Да, много ты поняла!.. – Он смотрел на ее любящее, покорное лицо, на загорелые, округлые, но уже немолодые руки, на поцарапанные травой ноги, смятую юбку, и его раздражало решительно все в ней: и молодость, и пятна возраста, и доверчивая неприбранность, и золотая цепочка на шее, и покорность глаз, готовность повиноваться каждому его слову, только чтоб он не требовал разрыва. Он раздавил, как окурочек в пепельнице, вновь нахлынувшее раздражение, голос его прозвучал сердечно:

– Прощай, Аня. Спасибо тебе за подарок. Я этого никогда не забуду. – И, отвернувшись, взмахнул «утюгами» и послал вперед свое тело.

Анна не пошевелилась. Она не верила, что он может уйти. И Корсар не верил, он тоже остался на месте, лишь приподнял голову и наострил одно ухо, другое, перебитое или перекушенное, висело бессильно. А Паша все кидал и кидал свои «утюги», мощно бросая себя вверх и вперед – каждый бросок был куда больше человеческого шага. Анне представилось, что он вознесся над землей, к которой его так низко прибило, и летит по воздуху прочь от нее, ее рук и губ, ее любви и преданности, удирает, не поняв осенившего их чуда. Неужели так непроглядна тьма в его душе?.. Корсар первый прозрел правду, он шумно выдохнул воздух и помчался за хозяином.

Анна тоже вскочила и побежала. Но ее завернуло сперва на болото, а когда выбралась из кисло-смердной топи – на вырубку. И тут она сломала каблук о толстый корень. Она сбросила туфли, побежала босиком, но укололась, оступилась, зашибла пальцы, захромала и поняла, что ей не угнаться за Пашей, который далеко-далеко впереди летел над белесой дорогой темным, все уменьшающимся шариком.

И Павлу казалось, что он летит. Толкнись чуть сильнее, собери потуже тело, и ты вознесешься под облака, увидишь весь остров с пристанью и белым теплоходом, который в последний раз приплыл сюда для тебя.

Он был доволен собой. Получилась великолепная мужская игра: он взял женщину, которую когда-то любил, получил от Скворцова по старому долгу. И не дал себя захомутать. Он пожалел ее детей, пусть живут, не зная, что их отец трус и подлец. Он снова остался на посту, как много лет назад, верный долгу и приказу, отданному на этот раз не белокрысым мальчиш-кой-лейтенантом, игравшим со смертью в орлянку на чужие жизни, а своей собственной совестью.

А ребята, конечно, заметили, как он удалился в лесок с приезжей, думал Паша, летя над Богояром. Небось ждут не дождутся молодецкого рассказа. Здесь не знали зависти, любая удача одного становилась удачей всех, подтверждая общую жизнеспособность. Но когда он пришел в палату и на него накиннулись с жадно-насмешливыми вопросами, он сказал серьезно и укоризненно:

– Бросьте, ребята!.. Это сеструха.

Все сразу замолчали. Не потому, что поверили, но Паша был командиром, атаманом, паханом, и его слово – закон...

...Анна с силой распахнула незапертую дверь каюты. Сковорцов показалось, что она пьяна: почему-то босиком, кофточка выскочила из жеваной юбки, подол замаран землей, волосы растрепаны, лицо бледное, мягкое и сырое, как после слез.

– Что с тобой?.. В каком ты виде?..

– Я была с Пашей, – объяснила она свой вид.

Сковорцов принял откровенность за цинизм, это придало ему смелости.

– Я видел его и не хотел мешать. Я не допускал, что моя жена может настолько потерять себя.

– А пошел ты!.. – устало произнесла Анна и тяжело опустилась на койку.

– Что он тебе сказал? – Сковорцов понял, что случилось самое худшее, и голос его сорвался в петушинный крик.

– Какое твое собачье дело? И не ори сиплой фистулой. Не ори на мать своих детей, так, кажется, я называюсь в патетические минуты?

– Что он тебе сказал обо мне? Какую грязную ложь?

Она поглядела на него искоса, в мглистом взгляде он прочел свой приговор.

– Я знаю... Клевета ходит торными дорожками. Он врал тебе, подонок, что это я ушел, а он остался? В точку?

Она повернулась к нему, лицо ее стало здешним, присутствующим.

– Он мне ни слова не сказал...

– Как не сказал? – Во рту пересохло. Сковорцов оближал нёбо, десны, губы.

– А почему, собственно?.. Господи, теперь я понимаю!.. И как могла я, дура окаянная, поверить, что Паша!.. Конечно, это ты ушел, трус, предатель. Бросил товарища, чтобы спасти свою шкуру. И Пашка стал калекой, а я несчастной на всю жизнь.

– Ты бредишь? – пробормотал Сковорцов.

– Ловко придумал!.. Ничего не утверждал, а тень навел. И все ускользал от прямых слов... щадил память товарища. Я попалась и замолчала. И почему-то поверила в Пашкину смерть... Ох, ты знаешь людей, по-подлому, но знаешь. А вот столкнулся с благородством – и сам себя в дерьмо усадил. Как же я тебя ненавижу!..

Сковорцов молчал. Возражать бессмысленно. Он попался, как последний идиот. Нет хуже иметь дело с такими, как Пашка, никогда не знаешь, что они выкинут. Могло прийти в голову, что калека будет молчать? Ведь это его единственный реванш. Преподнести женщине, что она живет с предателем, шкурой, трусом. А он вовсе не был ни трусом, ни предателем. Просто не захотел обреченно, как бык на бойне, ждать смерти. Пашка из породы рабов. Ему приказали, и все – собственная воля и мозг отключены. А в нем нет этого рабьего, он понял, что о них или забыли, или белобрысый лейтенант сыграл в ящик. Сколько могли держаться два человека? У них оставалось по одному диску, на что тут рассчитывать?.. В нем была воля к жизни, а в Пашке не было. Ему не повезло, он наткнулся на немцев, не успел содрать автомат с шеи, но ведь он мог выйти к своим и спасти Пашку. Глядишь, стал бы шафером с бантом на Пашкиной свадьбе. Чудесная картина! Всю жизнь мечтал стать благодетелем. А по ночам кусал бы пальцы. Спасибо!.. «Кто падет, тому ни славы, ни почета больше нет... Доля павших – хуже доли не сыскать». Это знали даже в самую героическую эпоху липовой истории человечества. Но Пашка не пал – вот в чем загвоздка. Явился с того света, чтобы изгадить ему жизнь. Нечего на Пашку валить. Тот промолчал, скрыл правду, непонятно почему, но скрыл. Сам проболтался, истерик. Не выдержали нервишки. Как дальше будут развиваться события?.. Она на борту – это главное. Теплоход уже отчаливает. Запомнится тебе Богояр, на всю жизнь запомнится, хотя ты даже на берег не сошел. Не познакомился ни с растительным, ни с животным миром острова, ни с его историческими достопримечательностями – невосполнимая потеря... Ты немного приободрился, дружок? Имей в виду, в ближайшее время от тебя потребуется много выдержки и много изобретательства, иначе развалится здание, которое ты с таким трудом возвел.

Анна, слепо глядевшая за окно, обнаружила какое-то движение. Они покидали Богояр. Но остров не отдалялся, они шли вдоль берега. Над верхушками сосен возник деревянный, цветом в белую ночь купол с крестом – какая-то церковь. Очевидно, они оплывают остров, чтобы дать туристам более полное представление о Богояре. Она поднялась и вышла из каюты. Скворцов удержался от совета накинуть плащ.

Анну сейчас лучше не трогать. Но как ему распорядиться собой? Торчать в каюте скучно, тягостно и вредно – даром изведешь себя кружащимися вокруг одной точки мыслями. Надо скинуть наваждение. В трудную, быть может, в самую трудную минуту жизни он должен быть со своими детьми. Никто не знает, что выкинет эта женщина, она может внести страшный хаос в их жизнь, изобразить разрыв, уход, навести великий срам на семью, они должны сплотиться – не против нее, боже упаси, а против тех разрушительных сил, что в ней пробудились. Конечно, он ничего не скажет детям, просто надо быть вместе. Самое страшное все-таки не случилось – она уехала с ними. Победило элементарное благоразумие. Это давало надежду, и весьма серьезную. Обвинения, оскорбления, унижения, угрозы – сорный смерч, взвешанный с обиженной и слабой души, – не пугали. Скворцов знал: люди охотно считают тебя тем, за кого ты себя выдаешь, при одном условии – чтобы ты сам в это верил. Даже испытывая серьезные подозрения в надувательстве, они с умиленной покорностью продолжают играть в тебя такого, каким ты себя подаешь. И это распространяется даже на самых близких. Видимо, человек бессознательно экономит душевную энергию, которой у него не так уж много, – идти наперекор в чем бы то ни было изнурительно, сложно, такой расход сил оправдан лишь важной целью. Скворцов уже ощущал себя благородным страдальцем, чья единственная вина – беззаветная любовь (тут была крупица истины); он не оставил бы Пашку, если б не Анна. Там, на последнем краю, ему мелькнуло, что он должен разыграть собственную карту. Инстинкт самосохранения тут ни при чем. Он шел к Анне!.. Женщина простит любое преступление, если оно совершается во имя нее. А тут и преступления нету. Он мог погибнуть, а Пашка уцелеть. Они уцелели оба, каждый со своими потерями. Но он притаился к Анне, а Пашка не поверил ей. Конечно, надо все додумать, чтобы сходились концы с концами, но важнейшее найдено: он знает, какого себя должен навязать Анне. Сам он уже вошел в образ и чувствовал себя достаточно уверенно. А сейчас белая рубашка, галстук, твидовый пиджак и – к детям...

Моторы работали бесшумно, ход большого белого теплохода был так тих и плавен, что казалось – он стоит на месте, а медленно поворачивается остров, давая обозреть себя со всех сторон. Была в этой малой земле посреди огромной бледной воды печальная тайна, которую она привыкла укрывать от чужих глаз. Когда-то тут были скиты отшельников, пробиравшихся сюда с великими тяготами из необжитой России в поисках последнего могильного одиночества; они зарывались в чащу и тишину, стараясь не знать о существовании друг друга, но недолго был их покой – едва начавшему осознать себя молодому государству понадобился этот остров как оплот против северных врагов (почему-то народы не могут быть просто соседями), и оно прислало сюда крепких мужиков: монахов и трудников, поставивших монастырь-крепость. Минули века, опустел монастырь и, как всякое оставленное вниманием человека становище, стал быстро разрушаться: заросли жесткими перепутавшимися травами двор и подъезды, треснули стены, ослепли окна; березы, таволга и крапива пробилась сквозь кирпичное тело, и тут его призвали для новой службы: стать убежищем отшельников середины нынешнего века, отдавших последней опустошительной войне больше, чем жизнь.

Анна думала о монастыре, но почему-то не ждала, что увидит его, да еще так близко. Ей казалось, что монастырь находится в глубине острова, в лесном окружении, а он стоял на самом берегу, на другой от пристани стороне. Его кремль спускался к воде, лижущей подножие крепостной стены, а собор, службы и жилые постройки расположились на взлобке. Анна видела колокольню с темными немыми дырами там, где прежде благовестили колокола, храм с порушенным возглавием, длинное здание под новой железной крышей и живыми окнами,

еще какие-то постройки, то ли восстановленные, то ли заново возведенные; потом открылся край двора с развешанным для просушки бельем, почему-то не снятым на ночь, с гаражом и сараями, перевернутой вверх колесами тачкой, ржавым воротом и поверженным опорным столбом. Она жадно вбирала в себя скудные, томящие знаки непрочитываемой жизни и вдруг всей заолодевшей кожей ощутила, что это Пашин мир, что Паша, живой, горячий, с бьющимся сердцем, синими глазами, сухой смуглой кожей, – рядом, совсем рядом. Их разделяла лента бледной воды шириной не более двухсот метров, совсем узенькая полоска суши, ворота, которые откроются на стук, двор. Она прекрасно плавает. Паша сам ее научил. Он затаскивал ее на глубину и там бросал, преграждая путь к берегу. Приходилось шлепать по воде руками и ногами – плыть. Она оказалась способной ученицей. Какие заплывы они совершали! Чуть не до турецких берегов. Боже мой, как легко все может решиться: он не выгонит ее, если она, мокрая, замерзшая, постучится в его дверь. А все остальное как-то образуется. И Пашкиной женщине придется смириться, Анна была первой, та поймет это, наверное, она хорошая женщина.

Анна сбежала на нижнюю палубу. Только бы ей не помешали. Но кругом – ни души. Пейзаж всем осточертел, а теплоход был набит удовольствиями, как мешок Деда Мороза – подарками, и хотелось до конца использовать часы безмятежного досуга. Она тяжело перелезла через барьер и, сильно оттолкнувшись, прыгнула в воду. Ее оглушило, ожгло холодом, но она вынырнула, глотнула воздуха и, налегая плечом на воду, поплыла к берегу, к Паше. Теплоход отдалялся медленно, он был грозно огромен, на берег же, как учил Паша, смотреть не надо – он не приближается. Руки и ноги были как чужие, плохо слушались, озеро совсем не прогревалось солнцем. Да ведь тут близко!.. Холод проник внутрь, стиснул сердце. Она хлебнула воды и хотела позвать на помощь, но остатками сознания поняла, что этого делать нельзя, потому что тогда ее не пустят к Паше. Она не знала, что на теплоходе прозвучал сигнал «Человек за бортом» и уже спускали шлюпку, куда прыгнули вслед за матросами капитан и судовой врач. Она не почувствует, как ее выхватят из воды, как хлынет изо рта вода, когда сильные руки врача начнут делать искусственное дыхание...

...В баре, где Скворцов сидел со своими детьми, ничего не знали о тревоге. Видимо, ребята «сильно поиздержались в дороге», поскольку вторжение отца в их тщательно оберегаемый мир было принято весьма милостиво. Скворцов терпеть не мог все это: приторные и довольно крепкие напитки, оглушительную жесткую музыку, корчащихся в пляске святого Витта потных, с глупыми, остервенелыми лицами молодых людей, – но источал благосклонность. А потом он обнаружил на танцевальном круге гибкую брюнетку, за которой приятно было следить. Его сын, танцевавший с худощавой девицей в белых обтяжных джинсах и полосатой маечке – Париж, Рим, Копенгаген! – с усмешкой подмигнул брюнетке. Та не отозвалась, вскинула голову, но Скворцов мог бы поклясться, что Паша знает ее, и даже весьма близко. Он позавидовал простоте отношений нынешних... Удивлял избранник дочери: громадный простоватый детина с модно длинными волосами и лапищами молотобойца. К Скворцову он испытывал большое почтение и, прежде чем опрокинуть в себя очередную бурду, непременно с ним чокался. Скворцов объявил, что сегодня угощает он, это задело самолюбие молотобойца, но спорить с пожилым человеком он не посмел, а, отлучившись к стойке, принес четыре плитки шоколада «Золотой ярлык» и куль с апельсинами. Сам он шоколада не употреблял – чесался от него до крови, – а от «цитрусовых», как он называл апельсины, покрывался сыпью. «У вас аллергия, – утешил его Скворцов. – Сейчас это модно...»

...Судовой врач прижал пальцами веки Анны и держал некоторое время, чтобы глаза закрылись. Она не захлебнулась – остановилось изношенное сердце. Конечно, это не было самоубийством, женщина видела спасательную лодку, но упрямо плыла прочь от них, к берегу. Зачем?..

Капитан думал: почему именно в его рейс должно было произойти ЧП. Ведь за все годы, что существует маршрут Ленинград – Богояр, лишь однажды пьяный свалился за борт, но был благополучно вытащен. А это случай с летальным, как выражаются медики, исходом. И что ее дернуло?.. Приличная женщина, доктор наук, солидный муж, дети... За нее крепко спросится. Конечно, он тут ни при чем. Но ведь кто-то должен отвечать. И главное, в пароходстве начнут талдычить: «Почему именно с тобой это случилось?» А правда, почему именно с ним?.. Не потому ведь, что в молодости он дважды из лихости, из подражания легендарному черноморцу Маку, в которого были влюблены все молодые капитаны, дважды «поцеловал» причал?.. Конечно, его накажут. Но этим не ограничится. Запретят продажу спиртного в буфете, хотя погибшая туда не заглядывала, а из тех, кто заглядывал, никто не прыгнул за борт; на час раньше будут закрывать бар и почему-то запретят танцевать шейк; пришлют в читальню еще несколько связок брошюр, которых и так никто не раскрывает, – и все это под знаком «усиления культурно-воспитательной работы среди пассажиров». Потом все войдет в привычную колею, жизнь куда сильнее маленьких очковтирателей, делающих вид друг перед другом, а главное, перед более крупными очковтирателями, будто можно помешать естественному ходу вещей, напору инстинктов, воли к наслаждению и забвению. Водку будут приносить с собой и пить из-под столиков, шейк – все так же отплясывать, оркестранты за тройки и пятерки – наяривать сколько влезет, а в читальне – по-прежнему брать «Огонек», «Смену» и «Работницу», если уцелели выкройки. Все вернется на круги своя, и он снова будет в порядке, не вернется лишь эта женщина, которой врач наконец-то сумел закрыть синие удивленные глаза.

...Павел проснулся, как всегда, первым. Привычно спертый воздух – инвалиды ненавидели открытые окна, берегли тепло. Тяжелое дыхание, храп, стоны, вскрики смертной боли. Этим озвучен сон искалеченных, самый крепкий и сладкий утренний сон. Они в бессчетный раз переживали в сновидениях, в точных или затуманенных, искаженных образах миг, на котором обломилась жизнь. В черепных коробках рвались бомбы, снаряды, мины, скрежетами стальные гусеницы, обдавала жаром раскаленная броня, оплавлялась в огне человечья плоть. Им снились госпитали, послеоперационное опаматование в кошмар: тебя прежнего нет, от тебя осталось... Днем они вели себя как все люди: улыбались, шутили, вспоминали, радовались, тосковали, ругались, спорили, курили, ели, пили, отдавали переработанную пищу – кто сам, кто с чужой помощью – к последнему невозможно было привыкнуть, – читали, слушали радио, смотрели телевизор и болели за футболистов и хоккеистов, писали жалобы в разные инстанции, собирали корешки, грибы, кто старался по хозяйству, другие работали в небольшой артели – ночью их души погружались в ад.

Павел привычным, отработанным движением скинул тело с койки и угодил прямо на свою кожаную подушку. Он заспался, шел уже седьмой час, надо быстро помыться, побриться, натянуть штаны, подвернуть брючины, хорошенько привязаться к подбою из толстой кожи – ив путь. Поест он на пристани, у него от вчерашнего дня остались два куска хлеба с баклажанной икрой.

Сквозь вонючую духоту до него долетел тонкий аромат, напомнивший о ночных фиалках, которые здесь не росли. Откуда такое? Запах усилился, окутал Павла со всех сторон, заключил в себя, как в кокон. Его собственная кожа источала этот запах – память о вчерашних событиях. Значит, Анна уже была!.. И ожил весь вчерашний день. Он ее прогнал. Теперь все. Незачем тащиться на пристань. Он свободен от многолетней вахты. Это почему же? А если она вернется? Она пришла через тридцать с лишним лет, вовсе не зная, что он находится на Богояре, так разве может не прийти теперь, когда знает его убежище? Рано или поздно, но она обязательно придет. Он должен быть на своем посту, чтобы не пропустить ее. Только сегодня это ни к чему. Сегодня она уж никак не вернется. Ее теплоход только подходит к Ленинграду, а другой теплоход отплыл на Богояр вчера вечером. Но кто знает, кто знает!.. Раз поленишься

– и все потеряешь. Ходить надо так же, как ходил все эти годы, к каждому теплоходу, пока длится навигация.

Через четверть часа он уже мерил своими утюжками дорогу, а сзади бежал Корсар. В положенный час он был на пристани, на обычном месте, у валуна. Прямой, застывший, с неподвижным лицом и серо-стальными глазами, устремленными в далекую пустоту. Он ждал. Ждет до сих пор.

## Бунташный Остров

### повесть

Далеко ли от острова Богояра, что посреди Ладожского озера, до Монпарнаса, что посреди Парижа? По карте вроде порядочно, но при нынешней системе связи – рукой подать. Во всяком случае, мысль, родившаяся в Париже, на бульваре Монпарнас между «Селектом» и «Куполем», в голове одного прохожего и в тот же день ставшая словом, широко разнесенным эфиром, с труднопостижимой быстротой взорвала тихую жизнь немногочисленных обитателей Богояра.

Этот прохожий, любивший называть себя и устно и письменно Слонялой, городским бродягой, был по национальности русским, по случайности своего рождения парижанином, по социальной сущности – совком, ибо лишь первые шесть лет жизни резвился на парижской мостовой, а затем всю долгую жизнь – вплоть до изгнания – провел на своей исторической родине, ставшей за годы его безмятежного детства советской.

Оказавшись невольным виновником тех скорбных событий, о которых речь пойдет ниже, этот человек во всем остальном не имеет отношения к нашему рассказу, но о нем стоит поговорить, ибо поучительно знать, к чему может привести оплошность хорошей, нацеленной только на доброе души (я в этом не сомневаюсь), когда от заласканности и всеобщей нежности утрачивается самоконтроль. В наше взрывоопасное время людям, обладающим моральным авторитетом, даже просто известным и потому слышимым, нельзя рассупониваться. Это плохо не столько для них – прочная репутация, бывшие – несомненные – заслуги все спишут, – сколько для окружающих, ничем не защищенных. И Слоняле все списалось, да что там списалось, никто и внимания не обратил – все разом оглохли, ослепли и онемели – на его страшный грех перед беспомощнейшими мира, которых он онесчастил своей безответственной болтовней.

Но я не был ни слеп, ни глух – да и не мог быть, слишком близко меня это касалось, и не обязан налагать на себя обязательство немоты, пусть дело и касается всеобщего любимца. Тем более что причинить вред я ему не могу, он давно ушел в мир иной и сейчас, несомненно, сидит на облаке, свесив ноги, и перебирает струны лютня. Жестокая, но случайная оплошность этого профессионально хорошего человека, конечно, и здесь списалась, к таким людям равно благосклонны и земля и небо.

Почему он накинулся на рассказ о самых несчастных, последней войны, людях, отдавших войне больше, чем жизнь, обитателях скорбного острова Богояра? И не просто напал, а посвятил ему целую передачу по «Голосу», где имел постоянный приработок к нещедрому редакторскому жалованью в одном из русских журналов. И ведь не то чтобы рассказ возмутил его своей бездарностью, антихудожественностью, дурным языком, скудоумием, всем тем, чем так раздражала оставленная дома литература. Он сам признался, что рассказ произвел на него сильнейшее впечатление, сперва огорошил, потом озадачил, смутил и, наконец, страшно разозлил. Говоря о нем по радио, он так и начал со всемерного расхваления рассказа, вернее, с добрых слов в адрес автора, назвав его другом (настоящей дружбы между ними не было, они и виделись всего три или четыре раза, правда, с интересом и симпатией друг к другу), а затем стал расхваливать «прекрасную литературу». Он старательно (это был ловко найденный прием) перечислил все мыслимые достоинства произведения: и такое оно, мол, и сякое, и распрекрасное, и расчудесное, а под конец, сделав многозначительную паузу, сказал устало рухнувшим голосом:

– Как видите, в рассказе есть все, что только можно пожелать для настоящей прозы, в нем нет лишь одного, главного... правды...

И после новой долгой мхатовской паузы (Слоняла в молодости был актером и штудировал систему Станиславского) он повторил:

– Да, правды... А без этого в искусстве все ничего не стоит.

И он объяснил, почему нет правды: в Советском Союзе убежища для калек засекречены тщательней, чем сталинские лагеря уничтожения. И никакие белые пароходы не отплывают из Ленинградского порта с веселыми туристами на ладожский остров, где у причала торчат пеньками «самовары» и спуют безногие на своих тележках или перебрасывая торс, подбитый кожей, с помощью деревянных «утюжков». Все это чепуха, ложь. Они схоронены в лесах, чащах, в тайных закутах, вроде старообрядческих скитов (о них ведают лишь секретные органы), и там они медленно вымирают, лишенные всякой связи с миром.

Эту страшную весть прослушало множество людей в советской стране, ибо в умении ловить запрещенные, глушимые передачи находчивые и сметливые граждане едва ли не превзошли собственное виртуозное умение гнать самогон из чего попало. Слышали и тысячи ленинградцев и жителей других городов, совершивших поездку на остров увечных, слышал и один калека-островитянин, бывший стрелок-радист, оставивший обе ноги в горящем самолете. Но руки у него были золотые, и он так наладил трофейный радиоприемник с бомбардировщика «юнкере» (американский военный металлический ящик был возведен в ранг трофейного романтическим воображением бывшего стрелка-радиста), что свободно ловил любые волны. Прослушав долгую, окрашенную сильным чувством передачу Слонялы, он сказал старосте калечной артели, безногому Павлу.

– О нас «голоса» заговорили.

– С чего бы это?

Бывший стрелок-радист объяснил.

– Худо, – решил староста, чуть наморщив кожу гладкого и почему-то всегда загорелого лба. Он умудрялся набирать загар даже в самое дождливое лето.

– А чего худого? – удивился стрелок-радист.

– Он подал мысль, – сказал Павел. – Турнут нас отсюда.

– Ты что – офонарел?.. Как могут нас турнуть? Мы здесь всю жизнь прожили.

– Жизнь!.. – повторил Павел с таким выражением, что у стрелка-радиста что-то хрустнуло в груди, а горло запер комок.

– Да, жизнь! – Слова, продираясь сквозь этот комок, причиняли боль. – Херовая, сраная, вонючая, каинова, но жизнь! Моя жизнь, твоя и всех нас. Другой не было и не будет. Вся как есть тут. Под этим проклятым небом, у этой проклятой воды. А все равно жизнь. Я тут каждый куст знаю, каждую колдобоину. Все отняли, а это не отнимут, не дам, суки, падлы!..

– Хватит блатной истерики, – спокойно сказал Павел. – Раздрочился, как Матросов.

Стрелок-радист посмотрел обалдело и вдруг хохотнул:

– Как Матросов?.. Ну, ты даешь!..

Павел «давал» по делу: уже через неделю после передачи, пойманной безногим радистом, им запретили ходить на пристань. А после того как Павел и еще двое безногих нарушили предписание и приволоклись туда в ближайшую субботу (пароходы приходили по субботам и воскресеньям), ворота монастыря, где находилось убежище, оказались на запоре.

Этому предшествовал один разговор в Сером доме на Старой площади, который известен в мире ничуть не меньше, чем Белый дом, поэтому адрес можно не уточнять.

В служебном буфете завтракали два одинаковых человека. Какую-то весьма незначительную разницу между ними можно было усмотреть: один чуть выше ростом и чуть уже в плечах, но это не бросалось в глаза, где прочно отпечатывалось их тождество: русые, будто выгоревшие волосы, маленькие голубые глаза, культистые носы, серые костюмы, белые рубашки,



темные галстуки; оба безулыбчивые, сосредоточенные, смотрят будто не на собеседника, а в себя. Если же подвергнуть их вскрытию, сходство еще усилится: слегка расширенная печень, крепкие желудки и кишечники, прокуренные легкие, вялое сердце. Злоупотребление алкоголем и куревом, сидячая жизнь, частые стрессы в общении с начальством и хорошая, доброкачественная еда сформировали их внутренние органы. А содержимым черепных коробок они могли бы безболезненно обменяться, если б лапутяне завершили разработку своего смелого метода пересадки мозгов. Случись это, никто бы не заметил перемены в их мышлении и способа выразить свои мысли. Эти люди отштампованы эпохой и теми жизненными обстоятельствами, в которые их поставили, тут невозможны отклонения даже в цвете галстука. Лишь очень немногим, особо избранным, прощался высокий рост – все остальные уместались между 167–172 см, – а также худоба (сытость – неперенный признак победившего социализма); положенный стандарт предписывал вышесреднюю упитанность, отчетливое брюшко, исключались спортивность, мускулы, загар. Тело должно быть квелым, брюзловатым, кожа бледной, о цвете волос уже говорилось, можно по пальцам пересчитать случаи, когда брюнеты или рыжие проходили строжайший отбор, ибо первый закон Серого дома: не бросаться в глаза, не выделяться, индивидуальность неблагонадежна.

И ели эти люди одинаково: выражая полнейшее безразличие к процессу поглощения пищи; они заправлялись ею, как машина горючим, без всяких эмоций и удовольствия. А между тем вкушали они пищу райскую, которую соотечественники старшего возраста помнили лишь по названиям, но не признали бы в вещественном образе. У каждого на подносе располагались миноги в горчичном соусе, кусок истекающего янтарным жиром угря, бутерброды с зернистой икрой, розово-опаловая лососина, а на очереди была яичница с ветчиной, горячие расстегаи и кофе со сливками.

Негласные, но очень строгие правила регулировали эти трапезы. Дом на Старой площади не был монастырем, обитатели которого не ведают, что творится за глухими стенами. Переходя из кабинета в машину, а оттуда в опрятные подъезды своих домов, они, конечно, мало соприкасались с окружающей средой (отпуска проводили в восстановительных учреждениях закрытого типа), но от своих домочадцев получали довольно ориентирующих сведений. Так, они знали, что их завтрак, стоивший пятнадцать копеек, для других граждан, появившись такие продукты в открытой продаже – мысль абсурдная! – стоил бы четверть зарплаты. Но полагалось делать вид, будто это обычный, ничем не примечательный завтрак рядового советского служащего по общепитовским ценам, и не корчить из себя гурмана. Есть надо как бы между делом, на бегу, не замечая, что ты жуешь в своей озабоченности идеологической, государственной, хозяйственной пользой страны, за которую ты в ответе. Хотя единственно реальным делом, каким занимались люди в огромном и все растущем Доме, было переваривание проглоченной в буфете пищи с последующим выведением отходов. При этом категорически возбранялось брать мало еды, чтобы не подчеркивать жадности, чревоугодия других. В старину считалось: если работник спор и опрятен за столом, таким же будет в поле, за прилавком, в мастерской. Так и тут. Если тебе еда не идет, то лечись или меняй место работы, нечего смущать, сбивать с толку здоровых людей, которым надо хорошо питать энергичную плоть и разогретый созидательной мыслью мозг.

Все посетители буфета в совершенстве освоили правила поведения. Но они оставались живыми людьми, хотя бы физиологически, и желудок их отзывался на вкуснейшую жратву довольным урчанием, унять которое не могла даже тренированная воля аппаратчиков. Странен был этот утробный концерт – сродни лягушачьему, осуществляемый персенфансом из очень серьезных, отвлеченных от материальной скверны идеологических монахов; порой он становился так звучен, что кареглазая буфетчица включала глушащую музыку. Она насмешливо думала, что желудочно-кишечные музыканты могли бы питаться еще лучше, если б их не обкрадывали, как самых рядовых граждан в какой-нибудь смрадной пельменной или перепол-

ненной столовке самообслуживания. В яичницу, пирожки и расстегаи регулярно не докладывалось масло, каждый бутерброд облагался данью в десять граммов – икры, балыка, ветчины, колбасы, ростбифа; омары, лангусты, эскарго и авока поступают лишь в кабинеты начальства да в авоськи служащих буфета, равно как и настоящий «мокко» и какао «Ван Гуттен». Им невдомек, что в обители, где все должно быть чисто, свято, существует отлаженная система воровства, и, хотя отсюда нельзя якобы вынести булавку, буфетные кормилицы ежевечерне выносят на глазах подкупленной охраны тяжеленные кошельки с отборной провизией. Но они ничего такого не знали, и сладкий хлеб их не был отравлен мыслью, что им недодают, а обслуживающий персонал, эта персть земная, питается лучше их, небожителей, и к тому же не нуждается в искупающем и маскирующем незаконные привилегии притворстве:

– Ты слушал вчера? – спросил тот, кто ел бутерброд с зернистой икрой, того, кто дожевывал сочного копченого угря.

– Предположим, – осторожно ответил угреед. – Что ты имеешь в виду?

– Слонялу. Он разорлся за Богояр.

Угреед ублажил горло последним кусочком угриной плоти и запил глотком кофе. Он выигрывал время, потому что не догадывался, куда клонит икроед. Передачу он, конечно, слушал, Слоняла долбал какой-то рассказ про безногих, говорил, что это вранье. Наверное, вранье, как и все остальное, что публикует «Новый свет», так и не наладившийся после солженицынских клевет. Но почему коллега заговорил об этом? Пустобрешество «голосов» сейчас мало кого волнует. Глушилки работают исправно, и, кроме аппаратчиков, сотрудников госбезопасности и прочей элитарной публики, которую не собьешь с толку, никто вражеской болтовни не слушает.

– Слоняла – мудак. Он думает, что эти убежища засекречены и автор там не мог быть. Мог сколько угодно. Кто хочешь может. Из Ленинграда туда каждую неделю толпами валит народ. Уже и другарей-братушек стали пускать. Я поинтересовался: чехи были, венгры, болгары. Глядишь, настоящих иностранцев повезут.

Любитель угря сделал отвлеченное лицо и потянулся за куском золотистой миноги, но отдернул руку. В него вошел страх: он не знал, как надо реагировать на услышанное. Он не бывал на Богояре, даже толком не слышал о нем и не читал рассказа, из-за которого разгорелся сыр-бор. Ясно было пока одно: Слоняла опростоволосился, вон сколько тому свидетелей – и наших, и народных демократов. Но интонация собеседника не была радостной, торжествующей: попался, мол, который кусался! – а озабоченной, недовольной. Не секу, не секу! – тревожно застучало в мозгу. Обскакал меня коллега, не даром же говорят, будто он идет на повышение. Надо держать ухо востро, не дай бог опростоволоситься. Дурное предчувствие стремительно обрело образ вполне конкретного пожара. Он решил быстрее очистить тарелку и взять добавок, неизвестно, сколько ему еще пользоваться этой благодатью.

Он тугодум, а позволительна лишь сознательная, на пользу дела, тупость. Жена никогда не верила, что он надолго задержится здесь. Ведь только кажется, будто это легко: ничего не делать, кроме вида, что ты что-то делаешь. Мало ловить начальственные слово и взгляд, кивать и хмурить лоб, умно помалкивать, зримо напрягаясь в боевой готовности. Настает миг, когда ты должен высказаться, а где гарантия, что ты не попадешь впросак?

– Задумался? – по-своему истолковал его молчание идущий на повышение. У него был другой мешающий карьере недостаток. Будучи человеком смекалистым, он переоценивал умственные возможности окружающих. – Вот и я задумался. Безногая и безрукая брашка мотается по пристани; торгует какими-то корешками, поганками и ягодой, клянчит на водку. Безобразное зрелище. Удивляюсь, как это до сих пор с рук сходило. Ведь тут бесценный материал для клеветы! Ты представляешь, какой можно поднять шум?

Наконец-то и его тяжелодумный собеседник понял, чем опасно выступление Слонялы. Он привлек внимание к Богояру. Не хватает, чтобы туда проникли шустрые ребята из разных «таймсов» и «постов». Хорошую картинку они там увидят!

– Страшное дело! – сказал он, вздохнул, покачал головой и будто невзначай отправил в рот пряную миножку и заел расстегаем.

– Очень даже страшное! Можно сказать, золотая россыпь для очернительства. Заслать туда фотокорреспондента, он такую «галерею» выдаст – не отмоешься. О чем мы все думали?.. Спасибо Слоняле – открыл, можно сказать, глаза.

Результатом этого разговора явилась докладная записка, а следствием ее – то, о чем речь пойдет дальше...

Конечно, Слоняла не чаял, не гадал, что его выступление, исполненное самых благородных чувств, ибо что может быть благороднее отстаивания истины, правды, разоблачения искусно притворившейся лжи, будет иметь роковые последствия для несчастных насельников Богояра. Беда этого хорошего человека, а не вина в том, что благородство из естественного свойства души стало для него чем-то вроде профессии, утратив безошибочность инстинкта. Он был единственным, на ком сходились люди разных воззрений, настроений, страстей и темпераментов. Даже те, кто вынудили его к отъезду, в глубине души относились к нему с симпатией. Бессребреник, добрый пьяница, чистая, бесхитростная душа, к тому же талантливый и умный прямым, не обидным для окружающих умом, он становился моральным авторитетом в любой среде, куда бы ни забрасывала его жизнь. И в наше злое время, когда кумиров оплевывают с еще большим удовольствием, чем негодаев, только на Слонялу ни у кого не поднималась рука. В конце концов он уверился в своей нравственной непогрешимости, точности оценок людей, событий, книг и вытекающем отсюда праве на суд. Он не злоупотреблял этим правом, понимая, жалея людей и снисходительно прощая им разные житейские слабости. Но в том, что не охватывалось широким кругом его снисходительности, он становился непреклонен. На это наткнулся сосланный в Париж Голямин, случайно подвернувшийся ему возле «Селекта». Если быть точным, Голямина сослали не в Париж, а в Израиль. Ему было предложено на выбор: или сесть, или разделить судьбу еврейской эмиграции. И русский с головы до пят, кроткий антисемит, происходивший из старого провинциального дворянского рода, убыл в маленький городок под Хайфой, откуда при первой возможности перебрался в эмигрантскую Мекку – Париж. Вся вина Голямина перед советской властью в том, что он хотел писать, как Кафка. Вернее сказать, он мог писать, только как Кафка, причем еще в ту пору, когда он Кафку не читал. Хотя нельзя сказать с уверенностью, что он вообще читал Кафку, поскольку он вообще ничего не читал, кроме самого себя. Но ведь он был вылитый Кафка, стало быть, читая самого себя, он как бы читал автора «Процесса». И делал это с упоением. Когда ему говорили, что он пишет под Кафку, Голямин хладнокровно поправлял: «Не под, а как. Это большая разница». Кафку никто не знал при жизни, и, если бы не счастливый случай, он так бы и остался в неизвестности, и тогда бы Кафкой стал Голямин. Но опередил хитрый чешский еврей русского Ивана и уж совсем в насмешку запихал его в какое-то жалкое местечко под Хайфой. Наши власти, чтобы не выглядеть дикарями в глазах всего света, скрепя сердце разрешили издать один сборник Кафки, но тем строже повели себя в отношении русского дублера великого сюрреалиста. Голямина вызвали на площадь Дзержинского и предложили ему на выбор: или писать, как Толстой, Тургенев, Чехов, Бондарев и Проханов, или покинуть страну. Честный писатель, Голямин, выбрал изгнание...

Сейчас оба изгнанника столкнулись у кафе «Селект», и оба пришли сюда из кафе «Куполь». Слоняла выпил там две кружки пива – свою утреннюю порцию – и хотел идти домой, как вдруг у дверей «Селекта» сильным вздрогом плоти обнаружил, что не добрал одной кружки.

Слоняла искренне считал, что он завязал. Он действительно, обретая некоторое равновесие в своем изгнании, покончил с водкой, коньяком, креплеными винами, вообще со всем спиртным. Он позволял себе изредка стакан столового вина за ужином и несколько кружек пива в течение дня. И оказалось, к его удивлению, что пивом можно достичь того же эффекта; что и водкой, разница лишь в количестве жидкости, потребной для того, чтобы забалдеть. Новый способ обладал одним преимуществом: Слоняла был не из тех, кто умеет растягивать удовольствие, – начиная пить, он делал это не отрываясь, в течение трех-четырех часов, после чего валился на кровать. Но с пивом испытанный метод не годился. Его плоский живот не вмещал того количества пива зараз, чтобы обеспечить быстрое выпадение из сознания, поэтому приходилось брести к этому медленно, через весь долгий день.

Голямин заглянул в «Селект» в надежде обнаружить кого-то из своих и расколоть на рюмку-другую, но никого не оказалось. Слоняла буквально за минуту до этого поднялся из-за крайнего столика на открытой веранде. Совершив бесполезный обход, Голямин выкатился на улицу, растерянно шаря по карманам, где, по обыкновению, было пусто. Кафкианская литература не пользовалась спросом на вольном Западе, как и в отечественном загоне, единственно что за нее не высылали. Если и удавалось иной раз тиснуть рассказик, то в русском издании, а за это не платили гонорара. Он жил общественным и частным доброхотством, одно время бацал чечетку в русской блинной «Чернец», присматривал за младенцами, выводил гулять собачек, но все-таки жил, не умирал.

Впрочем, сейчас он умирал от желания опохмелиться. Столкнувшись с ним, Слоняла сразу угадал знакомое состояние и, хотя между ними не было дружеских отношений, скорее взаимное глухое неприятие, по доброте душевной пригласил страдальца на кружку пива. Они вернулись в кафе, заняли место за столиком, вспомнили, как полагается, что здесь сживал папа Хем, стесняясь тривиальности этих неперенных воспоминаний, а затем омочили усы в белой пышной пене.

Они поговорили о том о сем. Вернее, говорил Слоняла, а Голямин лишь вскрикивал потрясенно, с каким-то влажным всхлебом, и стучал кулаком по столешнице. Ему было все в диковинку, он ни о чем ничего не знал. Не знал ни о глобальных, ни о местных событиях, не знал эмигрантских сплетен и скандалов, не знал, что идет в кино и в театре, не знал, что умер Нильс Бор (двадцать лет назад), что покончила с собой Мэрилин Монро (в том же году), не знал, кто президент Франции и премьер-министр Англии, не слышал о последнем романе Клода Симона, о только что открывшейся выставке Мура и о том, что в Венсенском лесу демонстрирует свои тела самая толстая женщина столетия. Но, не зная столь много и важного, он не стремился расширить свой кругозор и ни о чем не спрашивал сам, лишь захлебывал с восторгом информацию, которую выдавал Слоняла. А тот не умел пить молча, тогда лучше возглавить общество трезвости. Но он чувствовал, что Голямин – вопреки бурной, хотя и несколько автоматической, реакции – отнюдь не восхищен тем культурным бисером, который Слоняла так щедро мечет перед ним. Что восторженные всхлебы – это благодарность за холодное пиво, а не за духовные и умственные дары. Голямин-писатель жил в мире упырей, покойников, параноиков, наркоманов, половых извращенцев, насильников, алкашей, виев и басаврюков, считая их всех простыми советскими людьми или простыми французскими людьми – в зависимости от того, на каком материале работал. И еще Слоняла знал, что Голямин его не читал – ни строчки. Бог с ним, он мог не читать его изящные эссе, путевые дневники, исполненные тонкой наблюдательности и покоряющей любви к людям, мог не читать маленькую повесть, которую сам автор полушутливо-полусерьезно называл шуткой гения, но главное его произведение – великий роман – он обязан был прочесть. Этот первый и на десятилетия единственно правдивый роман о войне вошел в плоть и кровь поколений, объединенных величайшей народной трагедией. Долгие годы роман оставался нравственным критерием, маяком истины посреди разливанного моря лжи и полуправды. Каждый человек, в первую очередь мужчина, должен

был «пройти» этот роман, как армейскую службу. Но сидящий перед ним с пивной кружкой квелый, бескостный человек, который не ходил, а словно переливался в своих неглаженных штанах и мятом пиджаке, таким вялым, жидким было его крупное тело, сумел обойтись и без его романа, и без действительной военной службы. Однажды Слоняла пытался подковырнуть Голямина Хемингуэем, сказав о своем романе, что он так же обязателен для мужской души, как в пору довоенной юности – «Фиеста» и «Прощай, оружие!». Но выяснилось, что Голямин не читал этих шедевров молодого Хемингуэя и вовсе не чувствовал себя обделенным.

Беседуя о том о сем, Слоняла незаметно наводил Голямина на тему своеобразия иных литературных судеб, когда человеку достаточно одного произведения, чтобы полностью выразить себя и свое отношение к жизни. Литература – все-таки тайна, которую никто не может разгадать.

– Ага, – согласился Голямин. – «Горе от ума».

– Ну, есть и другие примеры, – как-то тягуче произнес Слоняла.

– Ты имеешь в виду «Капитальный ремонт»? – удивился Голямин.

Слоняла этого не думал. Официант поставил на столик свежее пиво, и одутловатое лицо Голямина закисло выражением слезной собачьей преданности.

– Ты хоть полистал мое занудство? – небрежно спросил Слоняла. Он недавно подарил Голямину последнее издание романа с преувеличенно лестным автографом.

Голямин так радостно дернулся и клекнул по-орлиному, что отрицательный ответ своей неожиданностью пришиб Слонялу. Некоторое время он собирался с духом, потом вернулся к общим темам творчества.

– Скажи, ты постоянно чувствуешь потребность мараить бумагу или это находит внезапно, без видимой причины?

Голямин приник к кружке, показывая левой рукой, что сейчас освободится и скажет. Он выхлебал ее до дна, поставил со стуком на столик, утерся бумажной салфеткой и сказал будто на публику, а не собеседнику;

– Мараешь, мараешь, а что толку?... Ни хрена не платят. Так с голоду помереть можно.

– На чистую литературу, известно, не проживешь, – согласился Слоняла. – Но, мальчик, нельзя быть таким чистоплюем в наше суровое время. Почему ты обходишь «Голос»?

– Я его обхожу? Да кто меня туда пустит? Там все забито, как в метро в час пик. Да и не умею я...

– Реникса! Что там уметь? Возьми любую книгу и раздолбай. Я тебе это устрою.

Тут ему душевно отрыгнулось; подкупаю я его, что ли? На кой мне нужно его признание? Он мне не нравится ни как писатель, ни как личность, ни как собутыльник. Но про себя Слоняла знал, что уже не сможет остановиться, пока не очарует этого никчемного человека. Обаявать людей – как-то незаметно стало его специальностью. Он места себе не находил, ощущая чужое равнодушие, и не мытьем, так катаньем должен был привлечь к себе запертую душу.

– Придерживайся одного правила; бери лишь то, что тебя по-настоящему раздражает, злит, бесит. Сойдет любая мура, только не равнодушие, жвачка. Этого «Голос» не терпит. Вот сегодня я раздолбаю одну богоярскую липу.

– Круто! – вдруг сказал Голямин и залился дробным смехом. – Ох, круто заверчено!

– Да ты что? – растерялся Слоняла, удивленный, что этот пребывающий в нетях человек мгновенно догадался, о чем идет речь. Что это наехало на упыриного певца, он же читает лишь собственные письма?

– Чего ты там крутого нашел? – спросил он раздраженно. – Очередная советская брехня.

– Не-ет!.. – мотал кудлатой головой, чему-то радуясь, Голямин. – Круто!..

– Заладил! – все больше злился Слоняла. – Можешь ты по-человечески сказать, что ты там нашел?

– Ах как этот безногий бабу разложил!.. Нет, круто!.. – ликовал Голямин, будто обрел некое преимущество перед своим маститым собеседником, и, реализуя это странное преимущество, он уверенно призвал: – Поставь-ка, Люцианыч, еще по банке!

– Конечно поставлю, о чем речь! – торопливо сказал Слоняла. – Но ты дал себя купить на слова, на мнимость горькой правды. А это советская пропаганда – тонкая, хитрая, великолепно замаскированная и оттого особенно противная. Я тоже чуть не поддался. Караул, думаю, если они так теперь пишут, надо по шпалам назад, примите с повинной головой. А потом понял; ничего похожего нет и быть не может. Заховали этих бедолаг в такие чащи и болота, что туда и птица не залетит, не то что белые пароходы плавают со светскими ленинградскими красавицами. А скорей всего, они давно изведены втихую, эти калеки. Нет ничего ядовитее лжи со всеми атрибутами правды. Для чего это понадобилось автору? Я знал его как порядочного малого. Мы с ним гудели в «Европейской», на лыжах ходили в Малеевке. Ты его знаешь?

Голямин отрицательно мотнул головой. Ему хотелось еще пива, да и надоел разговор о рассказе, который он случайно прочел и который ему пришелся. И то и другое случалось крайне редко, особенно второе. В ядреном калеке – герое рассказа – был дьявол, и это довлекло мистической душе Голямина.

Выслушав горячую речь Слонялы, он с ухмылкой сказал;

– Нет, круто!

Слоняла чуть не ударил его кружкой.

Он ударил его, вернее, сильно толкнул несколько позже, когда они по надоевшей, пошлой традиции загулявших на Монпарнасе русских писателей притащились к памятнику маршалу Нею. Сколько раз клялся себе Слоняла покончить с этой хемингуевиной, но, видать, слишком глубоко проникла в него отравка папой Хемом, и всякий раз, отгуляв в «Куполе», «Ротонде», «Селекте», «Клозери де Лиля», он свой путь домой, на далекую Амстердамскую улицу, где в один день закрыли сто шесть бардаков, начинал от бронзового Нея в треуголке на лихом коне, столь трогавшем суровое сердце его кумира. Здесь, опять же в духе папы Хема, он сказал с мркской простотой Голямину:

– Надоел ты мне, старик. Отвяжись! – и слегка толкнул плечом.

Голямин от слабого, но неожиданного толчка скovyрнулся со своих ватных ног и упал к подножию памятника Он неуклюже – с четверенек, – но довольно быстро поднялся и с бабьим воем кинулся на обидчика, скрючив пальцы рук – старый прием деревенских драк, которым разрывают у противника рот. Тут сработала какая-то автоматическая память, Голямин родился в семье московских потомственных интеллигентов, чьи предки сводили счета, лишь подставляя грудь под пулю обидчика. На счастье Слонялы, эта память подсказала Голямину лишь прием, но не способ исполнения. Слоняла легко отклонился и разбил Голямину нос. Последующий короткий бой прошел при полном его преимуществе. Потом он отвез на такси обмякшего и безутешно плачущего желтыми пивными слезами сюрреалиста к какому-то его приятелю в Бобиньи, а сам отправился на студию.

Драка скинула с него весь хмель и очень подняла в собственных глазах. Как-никак он был на двадцать лет старше Голямина, а уложил его в духе Филиппа из «Пятой колонны» или Роберта Джордана – «По ком звонит колокол». Чуть смущал, но больше удивлял небольшой фингал под левым глазом, ведь Голямин так и не дотянулся до него. Не беда, он выступает по радио, а не по телевидению. Слоняла был собран, сосредоточен, как-то пронзительно зол – до ярости, и разделал под орех изощренную советскую фигню. «Сегодня ты был хорош!» – восхитился редактор, считавший, что Слоняла выдохся.

Вот почему эта передача произвела такое сильное впечатление на сотрудников Серого дома. Если б это касалось вымышленного острова Богояр!.. Но прообразом его был остров Валаам, который населяли живые души, заключенные в обрубленные, искалеченные, беспомощные тела... Впрочем, как оказалось, не столь уж беспомощные...

...Когда мне передали эту тетрадку; грязную, замызанную, с порванными страницами, исписанную какой-то клинописью, я думал, что из нее ничего не извлечешь. Мне не удалось разобрать даже одного абзаца целиком, да и в прочитанных словах я не был уверен. Но потом мне порекомендовали одного пенсионного старичка, проживающего в Бескудникове, он, мол, разберется. Нет для меня в Москве тревожнее и неприятнее места, чем Бескудниково, а почему, не знаю. Быть может, моя тайная душа ведает причину странной неприязни с оттенком страха, которую вызывает у меня это место, ничем не отличающееся от других московских окраин. Иногда мне кажется, что в Бескудникове затаилась главная и последняя беда моей жизни. А что за беда? Смерть? Нет, я исповедую веру Гете, что смерть – красивейший символ Творца. Ладно, чему быть, тому не миновать. По странному психологическому выверту грозное бескудниковское клеймо на старичке-специалисте мгновенно уверило меня, что осечки не будет.

Жил этот старичок в собственном крошечном домике под сиренями, чудом сохранившемся у подножия громадного новостроечного массива. Он оказался таким же невсамделишным, как и его игрушечное жилье. Скрюченный костной болезнью, с головкой набок и косым взглядом снизу вверх, он щеголял в оранжевой байковой рубашке и коричневых вельветовых брюках, державшихся на широких помочах жар-птичьей яркости. Он смотрел снизу, этот щеголь, но взгляд его был свысока, долгая жизнь приучила его к сознанию своего превосходства над окружающими. Едва глянув на рукопись, он ехидненько, с ужимочками, принялся объяснять мне, что я пришел не по адресу: он графолог, его интересует почерк – ключ к человеческому характеру, а мне нужен текст. Со всевозможным смирением я заверил его, что мне все известно о его великом искусстве, но я знаю также, что лишь он один способен прочесть любой невнятный почерк. А уж хуже почерка и представить себе нельзя.

– Это писал безрукий, – сказал старичок.

– ?!

– Он привязывал карандаш к культе или, скорее, вставлял его в клешню.

– ?!

– В расщеп лучевой кости. После войны таких калек было навалом. У рынков, церквей, на людных перекрестках. Неужели вы не видели?

– Видел. Наверное, вы правы. Тетрадка – из инвалидного убежища.

– Полагаю, это весьма любопытное сочинение! – захихикал старичок, являя завидную независимость душевного состояния от скорбных обстоятельств внешнего бытия...

Работу он выполнил точно в срок. Машинкой старичок не пользовался, да в том и не было нужды, рукопись калеки была переписана каллиграфическим, на редкость красивым почерком.

– Графологу тут нечего делать, – заметил он небрежно. – Характер автора записок ясен без расшифровки. К сожалению, тут много пропусков, текст местами начисто размыт или стерт. Все, что можно восстановить, я восстановил.

Я поблагодарил, расплатился и с легкой душой покинул Бескудниково, отложившее на будущее расправу со мной...

Вот эта рукопись с некоторыми сокращениями. Почему я не дал ее целиком? Автор порой превращается из летописца в беллетриста и злоупотребляет пейзажной живописью, тяготившей у классиков и вовсе невыносимой у дилетантов. Он интересен всюду, где говорит по делу. Жалко, что многое не сохранилось. Писавший – человек интеллигентный, хотя и не чужд того непременного фольклора, которым отличается каждое мужское сообщество, будь то армия, закрытые учебные заведения, тюрьма, лагерь или инвалидные дома. Впрочем, ныне это стало хорошим тоном у отечественной интеллигенции. В нем причудливо сочетается взрослая проницательность, порой тонкость с детскостью, каким-то наивным захлебом. А ведь писал это пожилой человек, участник Отечественной войны. Когда я был на острове калек, меня поразил их молодежавый вид, а один «самовар» выглядел почти юношей, хотя ему было далеко

за пятьдесят. Кстати, он отличался и некоторым психическим инфантилизмом. Быть может, тут играют роль изолированность, выключенность из социальной жизни, однообразие, необновляемость существования, некая психическая остановка, постигшая обитателей убежища. Впрочем, стоит ли вторгаться в эту серьезную больную сферу беллетристическим пустомыслием?.. Вот эти записи.

*...Прошел месяц с тех пор, как нас перестали пускать на пристань. Пашика оказался пророком. Когда этот парижский мудозвон объявил по «Голосам», что нашего убежища не существует, Пашика сразу сказал: теперь начальство спохватится и нас отсюда попрут. Пока еще не поперли, но первый шаг сделали – заперли нас в монастыре. В дни, когда приходят пароходы: по субботам и воскресеньям, ворота на запоре. А со вчерашнего дня и среда стала запретной: какой-то пароход заходит с Онеги. До чего же это подло! Неужто мы так страшны и отвратительны, что нормальным людям на нас и глядеть тошно? Ведь мы такие же, как они, только искалеченные. У нас почти все инвалиды войны, изуродованных на производстве раз-два, и обчелся. В газетах орут: герои, защитники Родины! А героев держат как арестантов, за ворота выйти нельзя. А ведь за все годы о нас не вспомнили ни разу. Хоть бы в День Победы помянули. Нет, с глаз долой – из сердца вон. Да, по правде говоря, нам это и не нужно. Никакой болтовней рук и ног нам не вернешь. И жизни, ахнувшей в никуда, не вернешь. И близких, и друзей, которых мы потеряли, тоже не вернешь. Почти все пришли сюда добровольно, мало от кого семьи отказались, да ведь добровольчество это вынужденное – неохота обременять, неохота быть укором тем, кто все сохранил. Правильно о нас сказано: мы отдали войне больше чем жизнь. Если же в литературе вспоминали о таких, как мы, то лучше б этого не делали. Мутит от сладких соплей. Читал я в «Известиях» об одном безруком, как он ухожен и обихожен, как из рук жены ест и сыт, каким уважением у окружающих пользуется. До чего же хорошо у нас безрукому, куда лучше, чем с руками. А еще лучше, если еще и без ног, тогда полный кайф. А я что-то особого счастья не замечаю, хотя и других богаче: у меня от всех конечностей клешня осталась, как у рака. И я ею много могу.*

*Хуже потери рук ничего нет. Без ног человек – человек, без рук – чурка. Даже если он на ногах. Я свою клешню за две ноги не отдам. Я сам и поссать, и посрать могу, и даже подтереться. Мне Пашика сделал такой крюк, чтоб подцепить газету, и я им как миленький обхожусь. Нормальные не знают, что из всех потерь безрукого человека самая отвратительная – невозможность самому справиться нужду. Тут всякий раз в тебе что-то умирает. Пусть наши санитарки старухи и страхолюдки, а все равно женщины. И что же чувствует живой мужик, а мы все нормальные мужики, когда баба лезет тебе в штаны и ты из ее рук поливаешь, как младенца!.. А уж задницу тебе никто не подотрет, так и ходишь обосранный, вонючий до самого душа – раз в неделю. А бывает месяцами душа нет: то трубы засорились, то горячая не идет. От грязи опускается человек. Если б не Пашика, мы давно погибли от грязи. Эти стервы его боятся. Он никогда не орет, вообще редко повышает голос, но они знают, что он может врезать. К тому же Пашика не расстается с ножом. У Пашики боевое прошлое не только по фронту. Уже в мирные дни он оказался в очень серьезной компании. Подробностей я не знаю, но перо там считалось самым веским аргументом.*

*Любопытный человек этот Пашика. Он наш коновод. Он, можно сказать, официально признан старостой колонии, хотя такого звания нет. Персонал потому и считается с Пашикой, что он – гарантия их покоя. Наша увечная команда при всей беспомощности опасновата. Если попадет возжеса под хвост, мы черепушками своими будем громить стены. У нас и рукастых мужиков достаточно. Нервишки у большинства ни к черту, и страшно представить, что будет, если такая брашка сорвется с цепи. А Пашика всегда на стрёме. Он не начальству служит, а нас оберегает. Он запретил нам называть друг друга по именам, тем более в пренебрежительной форме, а сам остался для всех Пашикой, именно Пашикой, а не Пашей. И в*



*этом уважение, большие – обожание, каждый как бы утверждает свою близость с ним и вроде подчеркивает его ответственность перед обществом*

*Общество!.. Надо видеть это общество по утрам, когда одурелые от тяжелой, беспокойной ночи (мы все плохо спим, нам снится один и тот же сон, как нас разрывает на куски) возвращаются в явь, в свое несчастье*

*...Пашка сделал мне кучу полезных вещей, ложку с длинным черенком, я ею и суп хлебаю, и кашу наворачиваю, крючок – задирает и опускает рубашку, порток на мне нет – я прямо с постели сигаю в кожаный футляр; сделал он мне кружечку удобную алюминиевую, я насаживаю ручку на один «палец» и пью чай не обливаясь. Сделал множество мелочей, чтобы я мог сам причесываться, бриться, чесаться и мух отгонять. А главное, он соорудил мне тележку на подшипниках и костыль – от земли отпихиваться. До пристани я, правда, сам не допознал, только с чьей-нибудь помощью, но по двору таскаюсь и до леса добираюсь и к озеру. Ну, это близко, прямо за стенами монастыря*

*...Вчера разыгрался страшный скандал. Была суббота, и ворота закрыли на замок. Пашка замок сбил, с ним ушли трое, у этих были коммерческие соображения: бывший стрелок-радист Михаил Михайлович вытачивает трубки и мундштуки, минер Алексей Иванович мастерит елочные игрушки из сосновых ишишек, а танкист Леонид Борисович выносит на продажу дары леса: грибы, ягоды, лекарственные травы. На вырученные деньги покупают водку. Пашка раньше тоже подторговывал корешками, похожими на людей и животных, но потом бросил. Его тянет к парходам другое. Это романтическая история. Он встретил на пристани любовь своих юношеских лет. О них рассказ был напечатан. Я его не читал, но знаю от ребят. В рассказе этом женщина гибнет, она кинулась с пархода в озеро, чтобы доплыть до Пашки. Ребята говорят, что Пашка этому не верит. Там вообще много наврали и про смерть – тоже. Во всяком случае, Пашка ждет, что она придет опять, и ходит встречать ее к каждому парходу. Болтают, что у Пашки с ней любовь произошла прямо на берегу, в леске, возле пристани. Но когда Пашку стали пытать на этот счет, он заткнул любопытным хлебом.*

*Ясное дело, что для Пашки запрещение ходить на пристань – нож в сердце. Вот он и ушел, а ребята за ним. Конечно, администрация подняла шум. Пашка сказал, что как он ходил, так и будет ходить, и пусть они заткнутся.*

*В воскресенье к запертым воротам приставили старика с берданкой. Пашка ружье у него отобрал и ушел. За ним никто не увязался, чтобы не накалять атмосферу. Вечером Пашку вызвали к начальнику колонии, который считается главврачом, хотя никого не лечит. Разговора у них, видимо, не получилось. Берданку Пашка не вернул и еще показал врачу хорошо заточенный нож.*

*Вечером, когда ложились спать, ребята спросили Пашку: неужели ты старика резать будешь? «Какого старика, – сказал Пашка. – Там будут мужички посерьезней...»*

*...Пашка не ошибся: прислали трех амбалов, похоже, из лагерной вохры, на возраст, но здоровенных. И уже не с ружьями, а с «макаркой» в кобуре.*

*В субботу Пашка, как всегда, побрился, погладил гимнастерку, сменил подворотничок, засунул под ремень нож и поковылял на своих «утюжках» к воротам. А за ним Василий Васильевич – на тележке. Одной рукой отталкивается, а другой берданку сжимает. Он снайпером был: всего двух фрицев ему до Героя не хватило. Василий Васильевич, подвыпив, шутит, что отдал бы своих фрицев в ГДР в придачу за одну ногу. Вся наша колония высыпала во двор, и «самоваров» вынесли.*

*Пашка добрался до ворот и велел охраннику отпереть. Тот даже не ответил. Пашка сказал Василию Васильевичу:*

– Я его сейчас сниму. Если что пойдет не так, разнеси ему башку.

– Есть разнести башку! – весело отозвался снайпер и приложил берданку к плечу.

– Ты его приплюсуешь к счету, – сказал Пашка. – Он хоть из наших, но мордаа у него фашистская.

Пашка оперся об «утюжки» и подбросил себя вплотную к охраннику. Тот вынул пистолет. Пашка кинулся вперед, головой ударил охранника в живот и повалил. Пистолет выпал из руки. Пашка подобрал «макарку» и кинул Василию Васильевичу. Снайпер ткнул охраннику пистолет под мышку.

– Не бойся, – говорит, – убить не убью, только покалечу.

Вохровец налился кровью, но заводиться не стал и швырнул Пашке ключи от ворот. Он не струсил, просто признал свое поражение.

– Ну вас на хрен. Я с увечными не дерусь. Верните пистолет и валитесь хоть всей шарогой к ядерной фене.

– Отпусти его, – сказал Пашка. – Пистолет не отдавай. Если что – стреляй в ноги.

И заковылял на пристань...

(Тут в записях пропуск, но связь в изложении не теряется.)

...жуткий кавардак. В отсутствие Пашки приходил главврач и вся наша ведущая медицина. Интересно, что равенства нигде нет. Даже у нас существует расслоение, которое искусственно поддерживается начальством. Они хоть и врачи, а все равно начальство со своей административной жестокостью и глупостью. Аристократия у нас – это безногие, но с руками, с ними считаются, советуются, им дана наибольшая свобода. Средний слой – у кого сохранилась одна рука, а в самом низу – «самовары». Они совсем беспомощны, только и умеют – плакать и плевать. У меня положение крайне двусмысленное. Им очень хотелось бы числить меня в «самоварах». Но позвольте, господа, своим расщепом я владею виртуозно, да, виртуозно! Я сам ем, немного передвигаюсь, делаю вот эти записи, хожу в сортир без провозжаемого. Есть ли хоть малейшее основание зачислять меня в «самовары»? Я ничего против них не имею, боже избави, это самые, самые несчастные на земле люди, именно люди, а не «самовары», как их заглазно называют. Они должны иметь право голоса во всех делах. Но стоит ли говорить об этом, если даже меня стараются оттереть от общественной жизни. Я, конечно, умею качать права, и Пашка не дает меня в обиду, а его слово – закон. Но сейчас Пашки не было, и меня не позвали на собеседование. Ладно начальство, на то оно и начальство, чтобы хамить, но наши-то хороши!.. Черт с ними со всеми, важно остаться самим собой. Я веду дневник, а рукастые наши молодцы, поди, и писать разучились. У нас никто не пишет и не получает писем. Пусть мы добровольно ушли сюда, порвали с близкими, но ведь они где-то остались. Не пишут. Адреса не знают. Да если захочешь, неужели не узнаешь адрес? У нас был «самовар» Кеша, так к нему мать-старуха из Сибири добралась, из самой глухомани. Неграмотная, темная крестьянка вышла искать сына и через двадцать лет нашла его на этом острове. И осталась здесь до самой своей смерти. Таскала его на спине к пароходам, ставила на скамейку, вставляла сигарету в зубы, он дымил, улыбался, ловил кайф. После ее смерти Пашка стал таскать его на пристань. Леша тоже помер с месяц назад; и когда лежал в гробу, то выглядел подростком. Наверное, есть медицинская причина этой странной молоджавости обрубков, будто какая-то физиологическая остановка у них произошла. Вот это еще одно доказательство, что я не «самовар». Мне только очень скупой не даст моих пятидесяти восьми. Но если люди не хотят, им ничего не докажешь.

Я не стал навязываться и пошел на свое любимое место за сараями. Сейчас впервые обратил внимание на это «пошел». Да, так каждый из нас, кто может передвигаться, говорит и думает о себе: «я пошел», «надо сходить». Видел бы кто это «пошел», когда, отталкиваясь дрыном, отчего колеса моей тележки заносит то вправо, то влево, как нос у лодки, если гребешь одним веслом, я тащусь по неровностям почвы, через колдобины, ямы, заросли лопу-

хов, репьев, крапивы, какого-то низкорослого цепкого кустарника к своему заветному месту. А сколько у нас таких, для кого и это недоступное счастье!

Добрался я туда и так обрадовался, как никогда в жизни. Монастырская стена дала тут здоровую трещину, и видно озеро далеко-далеко, и островки, и чаек, и рыбацкие лодки, а бывает, и парусники, и буксиры с баржами, а по выходным дням можно увидеть пароход, возвращающийся в Ленинград, и людей на палубе.

Есть такое заболевание: боязнь запертых помещений, всякой тесноты и темноты, и вообще безвыходности. Оказывается, все монастырское подворье, если не можешь за него выйти, становится мало, тесно до задыха. А всего острова достаточно? Может, и недостаточно, потому что тащимся мы на пристань, где пароходы, а с ними весь огромный мир. Приятно на людей с воли глядеть и почему-то ничуть не завидно. А ведь должно быть завидно, до слез завидно. Но чего нет, того нет. Хорошо на них смотреть, и грустно, и весело – хорошо. Нет, нельзя было этого у нас отнимать, не по-людски с нами обошлись. И не верю я, что мы так переносимо ужасны приезжим, иначе б они сюда не ездили, а ведь валом валят.

За щелью в стене – простор. Сколько воды, сколько неба, воздуха!.. Жаль, вылезти наружу нельзя, тут отвесный обрыв прямо в воду. Прежде чем утонешь, насмерть разобьешься. Что ж, тоже выход. Но такая мысль сроду не приходила в голову. За все время у нас никто не покончил самоубийством. Здоровые, полноценные люди вешаются, стреляются, травятся, бросаются из окон, а наш брат так вцепился в эту пародию на жизнь, не оторвать. А как покончить с собой «самовару»? Я вот могу броситься в озеро, а что делать им, бедным? Только с чужой помощью, да ведь никто не станет помогать. Но они и не просят. Сроду не слышал, чтобы «самовар» о смерти заговорил. Может, в них пламя жизни пригашено? Живут в полусне, полусознании, как под наркозом.

Что-то не удалось мне настроиться на обычный лад. Я когда прихожу сюда, редко о чем думаю, только смотрю на воду, на облака, на чаек, и что-то во мне происходит, чего словами не выразишь. Какие-то мечты о прошлом. И Таня является, и мама, и отец, и сестра, все то коротенькое, что было моей жизнью. Только все горячее, пронзительнее, чем на самом деле.

Таня пришла к нам в третий класс, и я сразу начал за ней «гоняться», так называлось у школьников ухаживание: задевал, бил по спине, дергал за косички. Как положено, это заметили и стали нас дразнить: «Таня + Коля = любовь» – обычные школьные глупости. Таня всегда соответствовала своему возрасту, как будто не жила по-настоящему, а играла – в десятилетнюю, в шестнадцатилетнюю, в восемнадцатилетнюю. И мне всегда отпускалось по возрасту: сперва тащиться за ней из школы до дома по другой стороне улицы, потом приглашать на каток, потом весьма целомудренно обжиматься в подъезде, потом поцелуй – только не в губы; когда же я уходил в армию, она подарила мне свои груди. Это так и осталось пиком моей мужской жизни. У меня еще было несколько месяцев, чтобы стать мужчиной, но мне и в голову не пришло, я думал только о Тане, отложив все на после войны. Потом было минное поле и госпиталя два с лишним года, где меня все подкорачивали и подкорачивали. Оклемаюсь я в ту жизнь, где ни Таня, ни другие женщины стали мне не нужны. Конечно, я думал о Тане, особенно вернувшись домой. И мысли о ней меня трогали, волновали, но не возбуждали. Может, это самозащита организма? Не хватало еще, ко всем прочим удовольствиям, мучиться из-за баб. Пока были живы родители и я оставался дома, Таня не только не пыталась увидеть меня, но хотя бы весточку послать, слово доброе передать. Или это действительно свыше человеческих сил – иметь хоть какой-то контакт с обрубок? Но ведь изнутри, для себя, я вовсе не обрубок, я такой же, как был. Душу-то мне не обрубили, я цельный, или это мне только кажется?

А кем я был для своих родителей? Мать меня чуть ли не облизывала, но, по-моему, у нее слегка пошла крыша. Я стал для нее бебишкой, младенцем, несмышленышем. Она все время умилялась: жрать захочу – умиляется, в уборную – умиляется, какую глупость ни ляпну

– восторг со слезами. Уставал я от нее. Поведение отца мне больше нравилось. Он производил впечатление человека глубоко обиженного. Словно его обвели вокруг пальца, как последнего дурака. Еще бы: взяли сына, молодого, здорового, ладного, многообещающего, а вернули черт знает что, какую-то запятушу. Он обиделся не на судьбу, государство, армию или Гитлера, а на меня. Зачем я позволил так себя изувечить. Это казалось ему легкомыслием, безответственностью, распущенностью. Он был строгих правил, страшно уважал себя, свою работу, высокое звание кандидата географических наук, трехкомнатную квартиру, которую ему каким-то чудом удалось получить, орден Знак Почета, свою жену – мою мать – за дородность и умение вкусно готовить, уважал нас с сестрой – круглые отличники, уважал даже белого голубоглазого и, как положено, глухого кота; о глухоте он не догадывался, иначе отказал бы ему в уважении. Он почти не обращался ко мне, даже не смотрел в мою сторону. Иногда отрывисто напоминал, что мне следует похлопотать о какой-то награде. Ему серьезно казалось, что бляха на груди частично компенсирует причиненный ущерб. А может, это говорило в нем законопослушание: раз тебе полагается, должен получить. Однажды я не выдержал и сказал: «Оставь меня в покое. Зачем мне это дерьмо?» Он весь затрясся: «Ты совершил подвиг, ты заслужил!» – «Какой, говорю, подвиг? Кретин-лейтенант завел нас на минное поле». Он сжал губы и вышел из комнаты. Кажется, заплакал. Похоже, у него тоже поехала крыша. А мать квохтала от восторга, как наседка, что я его срезал. Но вот уж у кого точно поехала крыша, так это у сестры. Она меня боялась. Особенно когда я обзавелся клешней. Ради сестры я отказался от совместных обедов и ужинов, сказав, что мне это трудно. И мне стали носить в комнату. Сестра даже подруг никогда не приглашала, боялась, что на меня наткнутся. Правда, она приносила мне книги из библиотеки. Я прочел всего Диккенса, Бальзака, Стендаля, Гюго, Дюма, всю русскую классику, времени у меня хватало. Когда родители умерли один за другим от каких-то нестрашных болезней, я сразу наладился в убежище. Бедная сестра даже из приличия не предложила мне остаться. Боялась, вдруг я приму это всерьез. Да если б она на коленях молила меня остаться, я все равно бы ушел. У меня от них всех тоже крыша поехала. Из всей семьи единственно нормальным остался кот Генрих, хотя и глухой, и со странностями. Он весь день дрых, в восемь начинал душераздирающе орать и уходил на крышу. Возвращался ровно через двенадцать часов, минута в минуту, с теми же воплями. Что-то жрал и заваливался спать.

О Генрихе я жалею – теплая, пушистая, естественная скотина, о всех остальных нет. Они не выдержали экзамена, каждый на свой лад. А матери вообще не должны отпускать сыновей на войну. Родила – так и отвечай за свою плоть и кровь. Ложись на рельсы, кидайся сиськами против танков, сжигай себя на площади. Если б все матери сговорились, а не разводили сырость, не стало бы войны. Пусть возжи, как в старину, решают свои распри в единоборстве. Гитлер в весе петуха против Сталина в весе крысы. Сразу бы поубавилось пыла. Чужой кровью, чужим мясом и костями легко геройствовать, а собственную залупу ой-ей-ей как жалко!

До чего же паршиво мне было дома, если, приехав сюда и привыкнув довольно быстро к грязи, вони, плохой пище, хамству персонала, грубости отношений, не исключаящей душевности, даже тонкости, я очухался от своей омороченности и почувствовал движение жизни. Кстати, если кому-нибудь слишком воняет, могу дать совет: добавьте к общему букету свою струю, разом привыкнете...

Я стоял у разлома стены, смотрел на озеро и чувствовал, что не просто привязался к этому месту, а полюбил его. Эту воду, то белесую, то свинцовую, то изжелта-серую и редко голубую, это низкое тяжелое небо, крики крупных клювастых чаек, запах сосен, сырые темные кирпичи монастырской ограды.

Справа, на крутом откосе берега росли голубые, желтые, розовые цветы, я не знал их названий, кроме колокольчиков. Меня это удивило: прожить тут четверть века и не знать

имен тех, кто тебя окружает. Они всегда одни и те же, из года в год, только порой бывает больше колокольчиков, порой – розовых на длинной клейкой ножке; иногда все глушит желтое, иногда его забивает синь и фиолетовое. Я дал себе слово узнать их всех поименно. Откуда возникла такая срочная необходимость? Я не допускал, вопреки Пашкиным словам, что нас отсюда прогонят. Только подумал – и сразу вернулось то, от чего я, казалось, давно избавился: бабьи слезы, рыдания и – башкой о стену...

Пока я отсутствовал, произошли важные дела. Главврач сообщил, что заперли нас не по его инициативе, а по указанию сверху. Медицина установила, что каждый наш поход на пристань приводит к стрессу, разрушающему нервную систему. Вот как, а мы-то, дураки, не поняли, что все делается для нашей же пользы. Впрочем, чему тут удивляться: руководство всегда заботится о благе народа, а мы – самая драгоценная его частица, нас надо оберегать, холить и лелеять. Тут Василий Васильевич, бывший снайпер, сказал: «Коль мы и впрямь такая ценность, то нельзя ли сортиры почистить, иначе к стульчаку не пробраться». Главврач заверил, что будет сделано, и спросил, есть ли еще какие требования. К его глубокому удивлению, требования оказались. А он-то думал, что создал здесь земной рай. Дальше пошло, как на сходке, все орали, ругались, никто никого не слушал, и главврач тщетно призывал высокое собрание к порядку и гражданской сознательности. Спустили пары, подуспокоились, и главврач сказал, что ворота откроют, мы сможем, как прежде, ходить куда пожелаем, кроме субботы и воскресенья, ибо последнее нам вредно. Но кончится туристский сезон, и все ограничения сразу отменяют. Под наше честное воинское слово он готов снять охрану, если, конечно, мы можем поручиться за тех товарищей, которые не обладают достаточной выдержкой. Тут все поняли, что он метит в Пашку, и Михаил Михайлович, стрелок-радист, заявил, что Пашка должен ходить на пристань по выходным дням. Главврач и вся его команда – на дыбы, с какой стати делать для него исключение? И тут же предложили взять на себя сбыт нашей ремесленной продукции, продаже грибов и ягод, а также доставку спиртного. «Хватит жлобства, – сказал Василий Васильевич. – Вы прекрасно знаете, зачем Пашка к пароходам ходит». Тут переговоры сильно заклинило, наши стали насмерть. В конце концов персонал уступил: мы возвращаем пистолет и берданку, а Пашка будет ходить на пристань. Наши расценили это как великую победу, но потом вернулся Пашка и всех раздолбал.

Зря мы из-за него слабинку дали и разоружились зря. Это первый шаг к превращению инвалидного дома в тюрьму. Нам отвели Богояр как пристанище и убежище. Тут было пусто – чаща, гниль и развалины. Мы обжили эту землю, все уголки нами разведаны, все тропинки нашими задницами промяты, сам воздух нашим дыханием согрет. Тут все, чем мы владеем, это наши сосны, березы, лозняк, наши моховики и брусника. У нас нет ни дома, ни семьи, ни имущества, ни города, ни страны, ничего у нас нет, кроме этого клочка земли посреди пустынного озера. Но задумали и этого нас лишить. Если мы так страшны и ужасны для чужого глаза, какого хрена возить сюда туристов, есть много других прекрасных и доступных мест, не населенных такими вот изгоями, а нас оставьте в покое. Хоть это мы заслужили за свое увечье, за свою загубленную жизнь. Но зря они мутят воду: никто из приезжих от нас не шарахался, напротив, каждый старался высказать свое уважение и понимание. Это «Голоса» недоумили боданую власть, что мы страшнее чумы и надо нас изолировать. Небось иностранцев ждут, мать их в печень, а мы погано выглядим на взыскательный заграничный взгляд. У них инвалиды в креслах-колясках разъезжают, фланелевые костюмы носят и разноцветные картузики для пущего веселья. А мы без порток, гимнастерки старые испревишие донашиваем и елозим на задницах. Гнать таких к ядреной фене, чтоб не портили пейзаж!..

И когда Пашка это брякнул, тут такое началось!.. На него чуть с кулаками не полезли, словно он задумал выселение. Пашка дал всем отораться, потом снова заговорил:

– Вы горлопаните: не посмеют, не посмеют! Откуда такая уверенность? Вас что, никогда не обманывали? Святые люди, недаром в монастыре живете. Еще как посмеют-то, гла-

зом не моргнуть. Они на цельных людей плевать хотели, а тут какие-то обрубки, кочерыжки. Богояр для чистой публики, а не для таких, как мы.

– А что же делать-то? Что мы можем против них?

Это сказал жалким, беспомощным голосом Михаил Михайлович – один из наших заводил, сильный и громкий мужик.

– Ничего не можем, – подхватил Паика, – и все можем. Будем молчать и ждать, нам кранты. Главврач – пешка, всполошились верхние начальники. О нас слышали за бугром, и сразу у них в портках намокло. Ничего на свете не боятся, мудрят, изголяются над людьми как хотят, а душонки-то заячы. Стало быть, есть мир вокруг и есть, мать его, человечество. И приходится с этим считаться, хотя, как положено у них, по-уродливому. Надо обратить на пользу, что нам на пагубу задумано. Пусть знают, что мы не бессловесная скотина, что у нас есть глотка. Мы можем гаркнуть на весь свет. Это единственное, чего они боятся. Но начинать надо, конечно, со своих.

Решили написать письмо нашей администрации, а копию послать в Москву на самый верх. Паика не должен отказываться от своей привилегии ходить на пристань по выходным, это облегчит связь с Большой землей. Лучше посылать письма с оказией, чем через нашу ненадежную почту.

И, не откладывая дела в долгий ящик, мы сели писать «письмо турецкому султану», как выразился Василий Васильевич.

Тут обнаружилась одна неожиданная странность: Паика, умница, говорун, прирожденный вожак, оказался беспомощен в письменной речи. Он смущенно оправдывался: «Я, братцы, технарь до мозга костей. На литературу сроду не косил да и писем не писал, тем паче по начальству». И другие наши лидеры застеснялись. Тут настал мой час. «Повезло вам, говорю, ребята, есть среди вас словесник. Подкидывайте мысли, я все сформулирую». Все обрадовались, лишь Алексей Иванович, минер, ляпнул бестактность: «Диктуй, я буду записывать. Много ты своей куриной лапой наковыряешь, а у меня почерк писарский, я в минеры по ошибке попал». Конечно, я внимания не обратил на его хамство, подвинул лист бумаги и зажег шариковую ручку в пальцах. Пришлось Алексею Ивановичу поджидать, пока я «куриной лапой наковыряю» что нужно.

О своей обиде я вскоре забыл, до того у нас здорово пошло. И впрямь, как у Репина: и хохот, и крепкое слово, и остроты, будь здоров! Василий Васильевич снял гимнастерку и стал вовсе как тот полуголый казак, что слева на картине, ему другой казак кулак меж лопаток влил от восторга. Мы долго резвились и хулиганили, пока Паика не призвал нас к порядку. Казалось бы, чего тут радоваться? Нас заперли, как зверей в зоопарке, впереди тоже не светит, а мы ржем, орем, выпендриваемся друг перед другом. Наверное, это потому, что мы занялись общим делом, начали что-то вместе отстаивать. Такого сроду не бывало. Каждый мучился сам по себе, каждый спасался сам по себе. Странно, у нас немало выпивающих, но никогда не бывало общего застолья, даже в Лень Победы. Этот день и вообще у нас туеско проходит. Не сияет нам золото победы, хотя в ней и наша доля. Но для нас у нее ничего нет. За праздничным столом нам не нашлось места. Ну и упивайтесь своей победой, разыскивайте старых фронтовых друзей, вешайте на веточках имена с номерами частей, наш день – двадцать второе июня, когда нам вынесли приговор. Мы всегда плохо спим, но что мы вытворяем в последнюю ночь перед войной, передать невозможно. Мы не кричим, а воем, не плачем, а истерически рыдаем, взываем к Богу, кроем в Бога, в душу, в мать, по-детски лепечем, умоляем, лаем, мычим, блеем, не палата, а скотный двор. Просыпаемся от своего и чужого крика, но никогда об этом не говорим. Наоборот, напускаем на себя постный вид и степенно, фальшиво-истово вспоминаем минувшие битвы. Ох уж эти битвы!.. Как красиво на них ранят и калечат!.. Я как-то раз сказал, что подорваться по-дурацки на своем же минном поле, так на меня наорали: заткнись! Нечего шута из себя корчить!..

*Любопытно: никто не получил награды за свой последний бой. Тут дело двоякого рода: далеко не все превратились в калек так героично, как вспоминается сейчас, и другое – начальству не хотелось возиться с обрубками, тратить на них благородный металл наград. Сколько в этом цинизма и холода!.. Но вот еще о чем надо сказать: кроме большого дня начала войны, никто у нас не болтает о подвигах, тем паче о наградах. Разве что над Василием Васильевичем иной раз подсмеиваются: не добрал двух фрицев для круглого геройского счета.*

*Ладно, что-то далеко занесло меня от «письма турецкому султану». Мы потратили на него куда больше времени, чем надобно, наслаждаясь своим единодушием, гражданской доблестью, остроумием и виртуозным матом. Это была жизнь, а не бесцельное прозябание, и мы как-то забыли о цели наших усилий. Вернул нас на землю, как уже сказано, Пашка. Он стал выкладывать тезисы письма, и до того четко, что я усомнился, действительно ли он не мог написать это письмо без нашей – в частности моей – помощи. Наверное, Пашке хотелось всех нас втянуть в дело. Так или иначе, мне лишь раз-другой удалось расцветить его железные формулировки хорошим эпитетом или деепричастным оборотом. Пашка высоко оценил мои скромные труды, ребята одобрили текст, после чего мы пошли к «самоварам». Разбудили их, поставили на койках стоймя, Пашка объяснил ситуацию и зачитал письмо. «Самовары» единодушно приняли текст, а старший среди них – артиллерия – Егор Матвеевич предложил создать стачечный комитет и подписать письмо его именем. Предложение было принято. В комитет вошли: Пашка, Василий Васильевич, Михаил Михайлович, Николай Сергеевич, то есть я, Егор Матвеевич и Аркадий Петрович – тоже «самовар» – пехотинец.*

*У Пашки был многолетний роман с одной чистой женщиной из обслуживающего персонала, прачкой Дарьей Лукиничной, через нее письмо передали главврачу, а в Москву его отправит в следующую субботу Пашка...*

*...У нас происходят непонятные дела. От всех переживаний я плохо спал ночью: часто просыпался, потом задремывал вполглаза, потом впал в какое-то странное полубессознательное состояние: не то сон смотришь, не то явь прикидывается сном, в этом полубреду мне мерещилась бурная ночная деятельность. Пашка, Василий Васильевич, Михаил Михайлович, Алексей Иванович и еще трое-четверо «мобильных» шушукались, колобродили, уходили, приходили, потом вовсе исчезли. Когда я снова проснулся, они были в палате, но не ложились, опять шебуриали сердитыми голосами. Я решил присоединиться к ним, как-никак я член стачечного комитета, но тут меня будто молотком по затылку ударили, и я враз отключился.*

*Утром я потребовал у Пашки отчета. Он все мне рассказал, но просил до времени об этом не распространяться и даже не записывать – он знает, что я веду хронику нашей жизни, надо быть крайне осторожными...*

*Ответа на письмо мы не получили. Главврач даже отказался разговаривать с нами. Пашку, как и обещано было, выпустили за ворота, и он доверил наше послание одному из пассажиров, ленинградскому инженеру, показавшемуся ему человеком надежным. Сам он вернулся нагруженный, как поездной носильщик. В основном бутылками с водкой и консервами. А еще принес конфеты-липушки, печенье, сахар, много махорки. У нас же с понедельника, когда открыли ворота, началась заготовительная кампания: собираем и сушим грибы, консервируем ягоды. Каждую ночь совершаем набеги на огороды обслуживающего персонала, а женщины наших орлов доставляют нам тайком хлеб, крупы, картошку. Мы готовимся к осаде, похоже, что она не заставит себя ждать. Вохровицы, с которыми у нас была стычка, отмыли, зато прибыли какие-то очень внушительные пареньки, все на одно лицо: белоглазые, с квадратными челюстями и крепкими шеями. Они к нам не приближаются, но мы постоянно чувствуем их наблюдающий глаз. В остальном наша жизнь не изменилась, все остается прежним: и кормят, и поят, и уколы делают, и лекарства дают, и в палатах убирают, и горшки подставляют. Врачи, правда, реже заглядывают и держатся строго официально. И*

остальной персонал замкнулся, даже санитары и уборщицы, с которыми у нас всегда были грубо-доверительные отношения. Или им строго-настроено запретили вступать в разговор, или они сами не хотят волновать нас непроверенными слухами. Но поведение их подозрительно...

...Теперь мне самому понятно, зачем мы играли с собой в неизвестность. Ведь Пашика с самого начала сказал, что нас ждет. То ли это было слишком унижительно как полное и окончательное бесправие, то ли слишком страшно, так что душа не принимала, но когда это случилось, будто столбняк на всех напал. А ведь готовились к обороне!..

Собрали нас во дворе, и главврач сделал объявление: государство проявило о нас заботу. Чтобы улучшить наше содержание, убежище переводится в другое место, а Богоярский монастырь возвращают церкви, законной владелице святой обители. Вот так – ясно и просто. Все молчали. Никто даже не спросил, куда нас переводят. Потому что не было для нас иного места, где бы мы могли кончать нашу проклятую, жалкую, убогую, единственную и последнюю жизнь, кроме Богояра.

И вот мы стоим посреди двора и молчим. Вокруг знакомые кирпичные серые стены. Поверху ограды, на почве, нанесенной ветром и птицами, растут чахлые березки. Свечами торчат из-за ограды сосны с высоко обнаженными прямыми стволами. Вчера я на них внимания не обращал, а сейчас знаю: жить без них не могу. И без этих стен, и без этих березок, и без гудящего шмеля, нигде не будет он так гудеть, как здесь. О нас думают: обобранные, да мы и сами так о себе думаем, а мы, оказывается, богачи, вон сколько у нас всего – глазом не охватишь. Но завтра мы станем нищие нищих, пусть нам царские покои подарят, мы их не возьмем. Тут наш Храм-на-крови, и нет для нас другого.

Я как-то со стороны увидел наше сборище: какие же мы маленькие и какие они больные. В прямом смысле слова. Самый рослый из нас, Пашика, на метр от земли возвышается, остальные вовсе воробы. И сверху вниз взирают на карликов великаны. И карлики молчат в тряпочку, подавленные своей ничтожностью и бессилием.

Не поймешь, откуда прозвучал хриплый, будто зажатый в груди голос, похоже, Василия Васильевича:

– А мы не просили...

– Не слышу, – сказал главврач. Он действительно не расслышал и потому приветливо улыбался.

– Мы не просили нас переводить! – пискнул главный «самовар» Егор Матвеевич.

Главврач сказал ласково, как ребенку:

– Вы не просили, а государство о вас подумало.

И тут наконец раздался голос, которого мы все ждали, звучный, жесткий, резкий, как выскерк ножа:

– Пошли вы на х... с вашим государством! Мы никуда не поедem.

Пашкин голос нас сразу расколдовал. И перестали мы быть карликами, заговорил в нас человеческий дух. Даже слишком заговорил. Теперь орали все, вразнобой, не слушая друг друга. Главврач выделил из буйного хора одно: кто-то крикнул, что мы будем жаловаться на самый верх.

– А вы думаете, там об этом не знают? Я, что ли, решил вас переселить? За кого вы меня держите? Дети малые! Там, – он поднял глаза к серому небу, – это решили. И хотите вы или нет, придется подчиниться.

– С какой стати? – снова послышался Пашкин голос, прорезав общий шум. – Мы не каторжанники, не заключенные, мы свободные люди, и нам решать, где жить.

И тут заговорил один из челюстных молодцов, уставившись на Пашику белыми, как утренняя ладожская вода, глазами:



– Вы напрасно подзуживаете товарищей. Решение принято, и никто его не отменит. Все делается для вашей же пользы. Нечего затевать волюнку, себе же сделаете хуже.

– А ты не грози! – высунулся Михаил Михайлович. – Что ты нам грозишь, курья вошь? Это тебе есть что терять, а нам терять нечего. Все уже потеряно. Сказали не поедем, и точка. Нам переезда не выдержат и не прижиться на новом месте. Так какого хрена будем мучиться, лучше здесь подохнем.

Пашка сказал уверенно и спокойно:

– Скажите все это тем, кто вас послал. И мы, в свою очередь, скажем кому нужно.

Белоглазый коротко усмехнулся:

– Ваше дело. А поехать придется.

– У нас, что же, никаких прав нету? – спросил Алексей Иванович.

– У вас есть право на отдых, лечение, заботу государства. И все это вам обеспечивается.

Он вовсе не издевался, но и не пытался быть убедительным, просто талдычил по своей инструкции, поскольку твердо знал, что решать будут не слова, а поступки.

– Значит, примените силу? – спросил Пашка. – А скандала не боитесь? Мы окажем сопротивление. Не усмехайтесь, думаете, мы такие слабые? Да мы на весь мир о себе крикнем. На калек руку поднять – такое не простят. По горло в дерьме закопаетесь, вовек не отмыться.

– Демагогия... – пробормотал белоглазый, но, похоже, его озадачили Пашкины слова...

...Мне думалось, мы взяли верх, но в жизни все не так просто. И по нашим рядам прошла трещина. Вот уж не думал, что дырку даст Михаил Михайлович, один из самых отчаянных.

– Гиблое наше дело! – сказал он, когда укладывались спать. – Бодался теленок с дубом. Кто мы, а кто они?

– Мы – люди, а они – сволочи, – сказал Алексей Иванович.

– Это я и без тебя знаю. Только что мы можем против них?

– А то, что Пашка сказал, – вмешался Василий Васильевич. – Ты нешто не видел, как он скис, когда Пашка на мировой скандал намекнул? Сразу хвост поджал.

– Да кому до нас дело?..

– Это ты зря, – сказал Пашка. – Дело есть. У нас калеки хуже дерьма, а у них – забота всей нации. Я видел журналы. Первые люди. Общество не знает, как свою вину искупить. У нас нет общества, есть быдло, молчаливое и покорное, и номенклатурные вертухаи. Но вокруг нашего свиного загона – пестрый, горячий, живой мир, и в нем наша поддержка.

– А как ты к тому миру прорвешься? – спросил Михаил Михайлович. – Кто тебя услышит?

– Мы хоть и на острове, но от мира не отрезаны. И пароходы ходят, и почта работает. Докричатся до людей можно. Нас хотят убрать тишком. И вот этого нужно не допустить. Если мы проявим стойкость, мы отобьемся. Они боятся скандала, в этом наш главный шанс. Только действовать надо всем как один, иначе ничего не выйдет. Если кто не согласен, пусть сразу уходит. Так что определись, Михал Михалыч.

– Да я что?.. Я – как все... просто спросил...

...Теперь, когда мы оказались на осадном положении, многое стало ясно. Оказывается, Пашка, Василий Васильевич, Алексей Иванович и некоторые другие, предвидя, как сложится дело, приняли некоторые меры. В ту ночь, когда мне не спалось, они совершили весьма отважную операцию: утащили бочку бензина со склада и бочонок с керосином. Как они справились, не знаю, возможно, им помогли их женщины. Набегу, как оказалось, подверглось не только хранилище горючего, но и аптечный склад. Вот тогда уже началась подготовка к блокаде. О других заготовительных работах я писал, хотя, честно признаюсь, относился к этому как к детским играм взрослых людей. Думаю, что многие разделяли мое отношение. Но Пашка-

то действовал всерьез, и мы оказались неплохо обеспечены не только едой, куревом, горючим, но и медикаментами. Конечно, надолго этого не хватит, но мы рассчитываем, что рано или поздно отзовется Большая земля. Мы написали много писем в самые разные организации и отправили их еще до того, как нам пришлось запереться в нашей крепости. Но и сейчас, когда мосты разведены, мы не находимся в полной изоляции. Пашикина Дарья находит возможность держать нас в курсе вражеских намерений, если б не это, они взяли бы нас голыми руками.

Да, в какой-то момент – от растерянности, что ли, или от привычки к насилию – они решили осуществить принудительную эвакуацию. Но мы были предупреждены и заперлись в нашем бастióне, бывшей монастырской трапезной. Двери тут будь здоров, обиты жестью, с железными засовами. Окна на первом этаже с дубовыми ставнями, запирающимися изнутри, к тому же на всех окнах железные решетки. Конечно, нет таких крепостей, которых не взяли бы большевики, а именно к этой категории принадлежали белоглазые челюстные оперативники, но без большого шума тут было не обойтись. Тем паче что у нас опять оказалась берданка с набором патронов на волка и откуда-то – старый, несамовзводный, но вполне надежный наган. Несколько предупредительных выстрелов оказалось достаточно, противник отступил на заранее подготовленные позиции. Штурмовать наш бастióн они не решились. Все-таки Богояр обитаемый остров, и такую операцию не утаишь, даже если наши письма не достигнут адресатов. Пашика снова оказался прав: им надо действовать втихаря, в чем и состоит их слабость.

Снайперу Василию Васильевичу ужасно хотелось округлить счет, но Пашика не позволил. Тогда он прострелил из нагана рупор у самых губ главного обормота, призывавшего нас к добровольной сдаче в плен.

Пашика считает, что верховное командование осаждающих (мы перешли на военную терминологию, вначале в шутку, а сейчас всерьез) не ожидало серьезного сопротивления и потому не дало соответствующих инструкций исполнителям, что привело тех в растерянность. Возможно, это сделано сознательно: неохота брать на себя ответственность. С калеками славы не наживешь. Белоглазые тоже боятся попасть впросак, отлично понимая, что в случае огласки начальство подставит их. Выходит, с нами надо считаться, вот такая мы сила. Ребята это чувствуют и, конечно, гордятся. Совсем иным духом повеяло. Руки-ноги не отросли, а вот крылышки – точно, взять хотя бы такой случай.

Перед тем как мы заперлись в крепости, Пашика дал мне поручение: объяснить «самоварам» обстановку и предложить им эвакуироваться. Мне это поручение не понравилось.

– Почему именно я?

– Не заводись. Сам подумай почему.

Я это знал, потому и злился.

– Ты мужик умный, обходительный. Они тебя скорее послушают, чем любого из нас... Они не выносят никакого давления, принуждения. С ними надо только на равных.

Вот он и проговорился: на равных! Своего, мол, они послушают... Это он говорит летописцу Богояра (сам же так меня называет), человеку, который самостоятельно передвигается, сам себя обслуживает. Но я не стал заводиться. Черт с ними, раз надо, так надо. Конечно, меня там и слушать не стали, едва поняли, куда я клоню. Заорали, заплевались, обложили матом, а пехотинец Аркадий Петрович вдруг затянул своим высоким дребезжащим тенорком:

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой темною,  
С проклятою ордой.

*И все подхватили:*

Пусть ярость благородная  
Вскипает, как волна.  
Идет война народная,  
Священная война.

*Пусть это смешно звучит, но мы ощущаем наш бедный бунт как продолжение войны, которая кончилась для нас до срока, без победы и возвращения, хотя мы остались живы, вернее сказать, наоборот: война для нас так и не кончилась, она всегда продолжалась в наших изуродованных, не перестающих страдать телах, в обрубленных членах и помутненных рассудках. Война отвратительная вдвойне – окопная, безнадежная, когда фронт молчит, когда ни назад, ни вперед и время остановилось. А сейчас заработали орудия, мы вырвались из окопов и перешли в наступление. Мы ожили, забыли о боли, мы можем выбирать, решать, отстаивать свое, и другие люди – здоровые, сильные, цельные, экипированные и вооруженные – вынуждены считаться с нами...*

*...Они переменили тактику: от уговоров перешли к давлению. Нас почти перестали кормить: только в обед подвозят котелок баланды, не дают ни курева, ни лекарств. Хорошо, что мы всем запаслись. Конечно, установили жесткое нормирование. Лекарства и курево в первую очередь «самоварам». Пока мы ни в чем особом не испытываем нужды. Уборщиц и санитаров к нам не пускают, но фронтовые подруги прорываются, устраивают постирушку, чего-то подбрасывают: сухарей, соли, спички, снотворное, медицинский спирт. Разведанных – никаких, противник затаился и планов своих не выдает.*

*Пашика считает, что план у них самый примитивный – взять на измор. Очевидно, начальство их умыло руки, а они не решаются на крайние меры. С другой стороны, это не может длиться вечно: пойдут слухи о ленинградской блокаде для калек – кому-то не поздоровится. Значит, надо держаться. Удивительно, почему молчат «Голоса». Михаил Михайлович каждый вечер крутит свою игрушку – ни черта. Без конца болтают о русской церкви, передают службы, как будто это кою-то интересует. Трещат о страстях Сахарова в Горьком и муках Солженицына в штате Вермонт. Конечно, на фоне таких высоких страданий наши богоярские болести ни хрена не стоят...*

*...Поскольку мы заперты в четырех стенах и занять себя нечем, стали много разговаривать. И естественно, все больше о войне, а что еще у нас в жизни было? Школа, пионерлагеря, а потом война, госпиталя и убежище. Есть исключения, не без того: Аркадий Петрович часовщиком работал, в самодеятельности пел, Алексей Иванович ходил рабочим в геологических экспедициях, Егор Матвеевич – таежный человек, охотился на пушиного зверя, у Пашики была любовь и бурная жизнь между госпиталем и убежищем. Но для подавляющего большинства война все перекрыла.*

*Раньше фронтовые воспоминания случались у нас редко, главным образом в подпитии двадцать второго июня. И всегда тут присутствовал тот последний, решительный, героический бой, когда от тебя осталась половина или того меньше. Расскажам этим никто не верил, в том числе и сам рассказчик, тем более что содержание их варьировалось от случая к случаю, обрастало красочными деталями. Каждый творил свой фольклор, и это считалось в порядке вещей, ведь и в самом деле могло быть и так, и этак, а результат один – он не придуман. Так стоит ли цепляться к подробностям, чего они стоят перед последней истиной? Нынешние рассказы ничего общего не имеют с прежними. В их откровенной, часто больной непривлекательности – голая правда. Ведь не только газеты и литература врут о войне, врут – от чистого сердца – сами участники, но это не охотничье вранье, хотя и такое бывает, все же оно не главное. Можно быть участником трагедии, апокалипсического ужаса, но не*

*кровавого фарса. А именно фарс полз из всех щелей в нынешних воспоминаниях. Я записал несколько историй по свежему впечатлению.*

Из рассказа Василия Васильевича:

*«...Не переживайте особо за меня, что я не округлил счета. Это все лаферма. Если снайпер взял больше десяти человек – брехня. Или ему искусственные условия создавали, как стахановцам, или он просто бздит. Когда ты на одном участке охотишься, фрицы тебя непременно выследят и уложат, они тоже не пальцем сделаны. Они все твои хитрости, приемы, манеру насквозь изучат и рано или поздно подловят. Вообще-то снайпер ходит на охоту со свидетелем. В следующий раз снайпером идет свидетель. И оба, конечно, химичат. Я на Карельском фронте был. Уже к сорок третьему году по сводкам получалось, финнов не осталось ни одного человека. Это обнаружила Ставка и выдала «разгонный» приказ. Стали ходить с двумя свидетелями и химичили по-прежнему...»*

Из рассказа Егора Матвеевича:

*«...Окоп был глубоким, бруствер высоким. Два разведчика в полный рост сопровождали ползущего на четвереньках смершевца. Он был в новеньком полушубке и в новых бурках. Командир роты, стоя в рост, представился смершеву. Тот приказал освободить «для работы с людьми» землянку. Единственную землянку освободили. Только в ней он встал в полный рост. Началась «его работа». Когда уполз на четвереньках обратно, мы догадались, что на троих стукачей в роте стало больше. Стукачей отгадывали по провокационным вопросам, которые они задавали командиру взвода и командиру роты. На солдат не стукали, а непременно на своих командиров. Свои «ксивы» обычно передавали почтальонам. Бывало, и замполитам».*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.